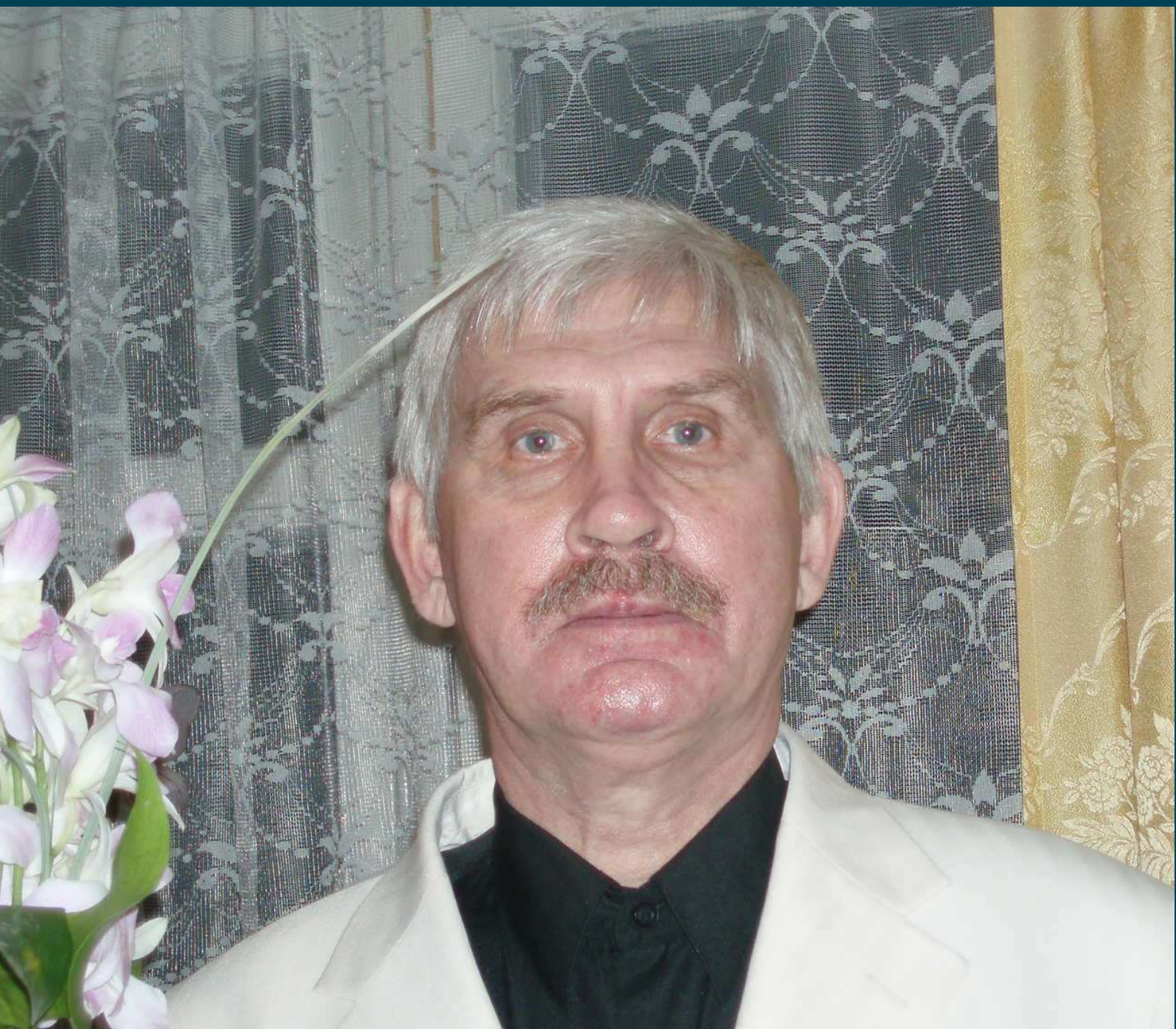




Дмитрий Верещагин

Дмитрий Иванович Верещагин (1941) – прозаик; детский писатель. Учился в Пензенском художественном училище, окончил Литературный институт. Лауреат национальной литературной премии «Заветная мечта», финалист Премии Ивана Петровича Белкина, имеет другие литературные награды.

Повесть «Большая улица» в первой редакции была опубликована в 1985 году; впоследствии с дополнениями печаталась также под заглавием «Первая любовь». Здесь представлена последняя авторская редакция повести.

Прямая речь: «В то утро я проснулся – как молодой бог! – благо было мне уже двадцать лет; я, закончив первый курс художественного училища (сначала я поступил на скульптурное отделение) приехал домой, – в родное село! – теперь уже студентом. Утром я умылся в реке нашей реченьке, название и то приятно для уха: Русляйка; и когда шёл я на реку умываться, конечно, в одних трусах без майки, я дышал всюю грудью и чувствовал его всеми фибрами своего существа, лето-то Господне; ночи стояли тёплые; в такое время лучше спать на сеновале или в избе с открытой дверью; конечно, если не боитесь надоедливых комаров; зато как хорошо слышно петухов; они точно по часам кричат у нас в селе дружно, под небом ещё со звёздами! Ах, на небе Млечный путь светится без электричества! Большая улица и электричество – это, я чаю, нонсенс.

А когда выходишь во двор, в глаза теперь бросается картина такая: петух на сарае, увидев тебя, слетает на землю, и, выпятив крыло своё нарядное, чертит круг вокруг молодки. Под сараем душно, и только на одно мгновение отвлечёт залетевшая под сарай ласточка: она кормит желторотых птенцов; они кричат так, что ты обязательно поднимешь голову вверх и посмотришь; но, отворив дверцу, ты видишь: цветущий картофель. Ах, это зелёное море уже видел ты столько раз, но вот только теперь ты всё видишь по-новому; вдруг почему-то сердце даже у тебя забьётся... Нет. Это изобразить невозможно. И всё ж таки, пожалуй, я нарисую».

Дмитрий Верещагин

БОЛЬШАЯ УЛИЦА

Рождество

Я однажды заработал очень редкую вещицу. На Рождество дело было, когда мы... Нет, пожалуй, надо сперва вам сказать, какой это был праздник, Рождество. Тем более что я, кажется, сказал выше, обещал рассказать и про это.

Вот сегодня у нас сочельник. И мы выбрасываем все из избы вон. А именно: мочало, рую, вальки, берда, иголки, било – все то, короче, из чего составляется в избе станок и ткут на нем рогожи. Мы, наше село, ткали рогожи. У нас все в селе их ткали, исключая учителей и двоих-троих разве служащих.

И вот, когда мы выбросим добро все это в сени, мама начинала мыть пол. Она так выскоблит его в честь праздничка годового, что, разгиная спину, говорит, бывало: «Ой, как бы половицы не прохудить, робята!» А потом мы наряжаем избу – как невеста, поглядишь, изба стала! Из такой и в баню идти нам не хочется! Но мама нам говорит:

– Кто со мной не пойдет в баню, тому рубаху шить не стану!

И – чего же – надо собираться с ней в баню. А после бани, – я любил этот час особенно, – наша мать падает на кровать сразу. Так она угорала! Потому и охотница была она попариться! «Пока два веника не исхлещу об себя, мне кажется, что я и не была в бане». Но я любил, когда она так основательно парилась. Любил. Потому что в это время от нее легко можно было смыться домой. Я, признаться, не люблю баню. Для меня она только как обязанность, мероприятие. Не более!

Но как хорошо после баньки в нарядной избе!

– Ох, – охает мать на кровати. И, вытирая пот, выступающий на лице у ней градом, говорит:

– Робята, подайте мне водички и шариков со двора.

Воды ей подаешь напиться, а «шарики со двора» – прошу вас не пугаться – это овечий помет. Пугаться тут нечего, потому что они, эти шарики, принесенные со двора, с мороза, очень хорошее средство от угара. Много лучше, я бы сказал, чем нюхать тертый хрен. Хрен хорошо когда? Когда угоришь не очень сильно. А с шариками (их, кстати, не нюхают, а закладывают ими уши) полежишь буквально минутку одну, не более, как уже все, чувствуешь, что голова проходит. А чтобы уж совсем она стала свежая – вот тут уже можно еще и понюхать хренку.

Потом мы разделяваем холодец. Мы: я и брат мой Воля. А мама расчесывает волосы. Сперва, прежде чем начать ей заплетать косу, которая была у ней большая, толстая, встанет, представьте, с табуретки... Нет, с сундука. Она всегда любила на сундуке после бани заплетать косу. До пяток! Как раз до пяток коса была! И прежде чем ее заплести, она всегда говорила:

– Ну, кому облегчить голову? Гребешок у меня Маньки Маркеловой, мелкий. Все им вычешу!

– Чешишь, мам, чешишь, – говорим мы с Волькой. Но она понимает это по-своему:

– Да ба-атюшки. Да ма-амоньки. Это вы так разделяваете? Да что же это вы делаете?

Потом – это где-то под ночь уже – она ставит тесто. И только после того она примется шить нам рубахи. А то и нередко по штанам сошьет. Скажет, что «скроила только рубахи я обжорам», а наутро проснешься, смотришь, а под боком лежат еще и штаны.

А орешки! Рождественские орешки! Ой и вкусно! Это просто языком нельзя выразить. А как подумаешь о том, что еще будет из еды на рождество! Пироги с калиной. Пироги с ревенем. Пироги с творогом, ватрушками называемые. Пышки. Блинцы – драченные пшеничные и просто блины из муки восьмидесят первого сорта. Каша – простая пшенная и каша с тыквой. Картошка, жаренная на одних вытопках. Мяса чугуна и чугуна щей... Ой, разве все это перечислишь? Никак невоз-

можно этого сделать, потому что рождество у нас праздник престольный. И как на него гуляли? Даже из Нечаевки нас было слышно!

– Пыль у вас, ильменские, столбом стоит, – звонили, бывало, они нам на почту, – особенно слышно, как пляшут на Большой улице. Вот это уж действительно там Христос уродился.

Но это все будет днем, к вечеру ближе. А сейчас я собираюсь славить. Благо стих «Рождество» выучил я хорошо на память. Вот я наелся досыта орешков, испеченных на сале: «Ой, мамка, как вкусно!» – и славлю:

– Рождество твое, Христе боже наш, во сиянии мир свет разума: в нем бо звездам служащим и звездою чахуся и тебе кланится солнце Правды и тебе видится с высоты Востока. Господи, слава тебе.

Мама повторяет:

– Господи, слава тебе...

– Дева дней пресущественного рожда-ает, – тяну я, – и земля вертеп неприступному прино-осит, – и, чуть завывая, – а-а-ангелы с па-ас-тырьми славословят, – почти не завывая, а просто пою, – волхвы же со звездами, – вот теперь снова завываю, – путе-е-ествуют, – и как там бом бам, – наш бог роди, – там бом бам, – роди, – там бом бам, – роди, – и, набрав в грудь воздуха, – роди-и-ился, – и наконец последний аккорд, – отроча млада превечный бог...

– И?... – спрашивает мама, проглотив слюну.

– С праздничком вас, люди добрые!

– Ой, сынок. Ну никогда я ни от кого такого не слышала. Это... ой как хорошо! Я вот тебе за это дам... только Вольке не сказывай смотри... двадцать копеек. И еще орешков наложу в карманы.

И она накладывает мне орехов полные карманы.

– Они немного, – говорит, – подгорели, но это ты, ты сам уж виноват: я тебя заслушалась...

Этот полный карман. Давай еще вот в другой... Давай, давай. Будете бегать по улице и кидать их.

– Куда?

– Чай, в рот, куда. И знаешь чего...

Но не успела она договорить «знаешь чего», как в сенную дверь: бух! бух! бух! – кто-то забарабанил. Я бегом в сени открывать.

– Кто там? – спрашиваю.

– Я...

Это Витька! Витька Додонов! Этому я открываю без всяких-яких, конечно. Но обязательно в это время руки прилипнут к железу. Полезешь помочь языком, а еще хуже получается. А тут славить же надо? И вот всегда так: когда не ждешь беду, а она тут как тут, паразитка. Да что уж! Вот как теперь быть? Как славить «Рождество» в таком виде? Если бы не мать, так бы дома и остался плакать. Но она языком проверит, «где болит», и сразу станет лучше. Даже славить, чувствуешь, можно!

– А ну-ка, ну-ка, – мама говорит, – вы прославьте с Витькой вместе мне.

Исполняем.

Мы с Витькой вместе так хорошо исполняем, что даже кот спрыгивает с печи и садится посреди избы слушать. Но вот мы с Витькой запнулись, а он: «Ма-ала...»

– Не лезь, – мама на него, – на вот, лопай орехи.

Но хорошо исполнили, очень хорошо. И Витька говорит:

– С праздничком тебя, тетя Маша! А я:

– С праздничком вас, люди добрые! (Как мама учила, так я и делаю.) А мама:

– Спасибо, Витя. Спасибо, сынок. Ой как вы хорошо, гоже как пе-ели. Я вас не прерывала, а хотелось посадить на шубу.

(У нас первого славильщика сажают на шубу. Примета есть такая... чтобы клушки водились в доме.)

– Эх, – говорит Витька, – чай, стели. Я еще, тетя Маш, тебе прославлю...

И вот мама ему стелет шубу. Мама стелет шубу на лавку, а Витька проходит вперед и садится на нее. В новых лапотках! И такой он весь нарядный: в новой фуфаечке, в новых штанах и, может, даже в рубаше он новой: не видно. Он весь запахнут... И вот он еще раз прославил маме на шубе. И она за это дает ему двадцать копеек.

– Прямо скажу, Витька, я только тебе. А всем остальным, кто прибежит если славить, подам конфетками («подушечками» она всем подавала). И пусть уж никто не обессудит меня за это.

Витька, довольный, сияет! Ой хорошо, хорошо нам. Теперь можно бежать и славить. Сейчас мы с ним всю нашу Большую улицу прославим! Или как лучше сказать?... Ну не важно. Так у нас, именно так говорят...

И вот уже мы толкаем дверь в два плеча и выбегаем на улицу. На мороз скрипучий. Дорожка у нас на проулке узенькая, и когда мы бежим по ней, то нас слышно. И не только нас, всех славильщиков слышно, когда они бегают по дорожкам, в сочельник почищенным. В лапотках! Прямо как мотоциклеты, послушаешь, летают. Так они, лапотки, хорошо визжат на морозе! И все бегом, бегом: на рождество на славенье дается час один только, когда на улице еще темно, когда печи только-только затопляются. Нет, впрочем, и днем славить можно, но только это почти что бесполезно, потому что все деньги, какие отложены для славильщиков, уже, считай, розданы. Днем бегаешь только к родным: там все равно тебе дадут столько, сколько заранее дать решили. Но с первыми петухами можно наславить больше, чем со вторыми; и вот почему Вольки, когда я проснулся, не было дома: он уже славил; он встал раньше мамы и, попив водички в чулане – ничего же больше не было, – убежал. И я вам должен сказать еще вот что.

Чтобы денег наславить много, надо подняться рано, и еще и сообразить нужно головой. Именно, что этим я хочу сказать? Тут, в ранний час, ты все одно не первый; не один ты умный такой; а и все ведь не дураки; а поэтому надо стараться всех обойти по возможности; и надо суметь замечать следы, потому что по ним сразу видно, что кто-то уже тут славил.

Объясню детально, еще более, конкретно, зачем это все нужно делать.

Первому славильщику дают больше. Мне, например, Илюшка на это счет говорил так: «Вот, голова садовая, видишь, – показывает, бывало, кулак, – скока де-

нег поместится – все твои! Но если прославишь мне первому». И, подмигнув, еще скажет, добавит он: «И стаканчик поднесу».

– Ну-ка с мороза дерни! Маньк, да дай-ка ты закусить человеку скорее! Да ну, как не будешь? Ты ведь, я слышал, голова садовая, Любку ходил сватать? Не ходил? Эх, смотри! Проворонишь девку!

Он, между прочим, замечательный плясун. Как выйдет плясать он в избе, как пойдет он... Но это будет днем! А сейчас мы – Витька и я – только выбежали от нас славить.

Первый раз! Впервые бегу я славить! Радости сколько!

Но я сказал не случайно, что надо кумекать головой, когда ты желаешь быть первым. А это нелегко! Когда бежишь славить впервые.

Хотя, в прочем-то, как раз именно тебе очень может сперва повезти.

Вот как было в тот раз...

Мы выбежали от нас, и Витька закричал:

– Ура-а!

Я бросился бежать что есть духу, так что даже обогнал Витьку. Я так бежал, неся по улице, что потерял аж куда-то варежки. А потерять варежки на рождество... да их, впрочем, и в любое время жалко.

Я говорю ему:

– Вить, я потерял варежки. Давай их искать. Но он молчит. Тогда я подошел к нему и, обхватив его, говорю:

– Ну, слабо меня побороть!

– Гу-у-у...у! – загудело.

Это оказался столб. А столбы в морозные темные ночи, знаете, как гудят! И даже еще они и толкаются. Вот попробуйте как-нибудь – обхватите столб телеграфный ночью в мороз, и вы убедитесь в этом сами.

И – уже я гляжу – лежу в сугробе. Он, столб телеграфный, так меня оттолкнул от себя, что я от него отлетел, как нокаутированный. И как после этого я попал в чей-то дом – не могу вам сказать этого. Но, гляжу, изба чья-то чужая. Темно. Едва-едва горит лампадка над киотом. И так холодно в ней, в избе, что впору в ней, как говорится, волков морозить.

В избе стоит кто-то. И я стал славить. А это кто-то платки снимает, гляжу, с головы. И тут, наконец, разглядел: да это же тетя Матька! Плакальщица наша! Которая, надо сказать, так плакала, выла над покойниками, бывало, что даже меня она до слез понимала. А мать наша – эта так плакала, что, придя домой с поминок, сама с себя удивляется:

– Ну вот не знаю, в чем дело? Ну же это хоронили нынча мы Федору глупую? А кому она нужна? А как Матька запела: «Ой, Федорушка, как ты ле-ежишь бе-э, бе-э, бе-эла. Кака ты ста, ста, ста-ала. У-у-у-мна». И вот чего ты будешь делать! Слезы сами нашли себе дорогу.

А Волька, я забыл сказать, в сочельник мне сказал, когда я у него спрашивал: «Воль, к кому мне завтра побежать славить сперва?» – «К кому хошь! На Большой улице у нас все подают неплохо. Но только, конечно, не к тете Матьке. Она сама исполняет лучше всех и подает плохо тем, кто молодой еще, как ты, и знает плоховато стих».

И не знаю, эти ли слова его или столб виноват телеграфный, толкнувший меня так, что я забежал в глухой дом, как, знаете, без памяти, – не знаю, не скажу вам, в чем дело, но только, друзья мои, я так запел у нее в избе, что гляжу...

Глаза. Как солнышко блестят в темной избе! И чем дальше я пою, славлю тем они ярче и ярче разгораются.

Я ей пропел только один тропарь. Но когда я, закончив, сказал: «С праздничком вас, люди добрые!» – она говорит мне:

– Ангел, – говорит, – ей, как ты мне душу освятил, ангел ты мой! Господь ангела, ангела послал мне...

Она даже щупала меня. Вероятно, чтобы убедиться, не ангел ли я, прилетевший с неба? Потом пошла к сундуку. Открыла его и, гляжу, нырнула в него. А сундук у ней был большущий. Полпечки занимал. Это в длину, а в высоту – метр. Метр, не дам соврать я, метр.

И вот чего бы вы думали она мне вынула из сундука? Иконку маленькую-маленькую. С коробочек. А на ней, как мы потом разглядели дома, царь. Великий русский царь.

Вот какую вещицу я заработал на рождество, хотя и впервые выбежал славить!

Но далее так успешно, однако, дело у меня не пошло. Больше вам скажу: я замерз на Большой улице. А получилось это, вероятно, потому, что я, во-первых, не придал иконке особого значения, наоборот, я подумал, что она мне ее дала по бедности своей, тогда как мне хотелось очень денег.

«Это, значит, я у нее не первый славил!» – выбегая от нее, думаю. И стал соображать теперь, куда мне побежать, чтобы непременно быть первому.

И всюду, везде неудачно! К чьему двору я ни подбегу – везде уже или следы натоптаны, или выходит со двора гурьба целая мелюзги большеульской.

Всю улицу я избегал! И так ее и эдак. По одному и второму порядкам. Но, к своему глубокому огорчению, так и не нашел двора такого.

«Господи, – глядел я в небо, – где же справедливость? Ведь я столько времени учил «Рождество» и столько ждал этого дня! А, господи?»

И слезы потекли у меня по щекам.

Беда, однако, случилась серьезная. Я потерял варежки. Не те, что выронил из кармана на своем проулке (их, кстати, нашли днем). А уже другие! Которые мне дала тетя Матка. Потому что я ей сказал про Витьку, как он меня бросил. И как через него я потерял свои варежки. И она дала мне свои – с тем лишь условием, чтобы днем я прибежал и занес их.

Правда, я одну только варежку потерял. А вторая, гляжу, на руке. Цела!

Но что значит потерять чужую варежку? Я так испугался, такой на меня страх, друзья, навалился, что... Вдруг, чувствую, ноги дрожат. И не бегут почему-то. Тут надо летать, а не бегать, а они у меня даже не бегут.

Никак почему-то! Впрочем, я сейчас знаю почему. К нему, к рождеству-то, ведь готовишься, бывало, за неделю вперед и так его ждешь, что всю эту неделю не ешь и не спишь по ночам. А тем более я: в первый раз собирался славить!

И никак они, ноги мои, не бегут. Ой, какой ужас! Они, чувствую, отнимаются у меня. Прямо они... как не мои стали. Как уже вот я, гляжу, ползу. Ползком! И

мне бы надо ползти к дому, хотя бы по направлению своего дома, а я пополз в обратную сторону. Потому что мне кажется, что я где-то там потерял ее, чужую варежку...

Нашел меня Мишка Фетюшин. Он шел за водой на колодец и на меня наткнулся.

– Ой, кто это? Это кто тут в сугробе, а? Когда он принес меня домой, у меня на лице, глядят, сосульки. Толстые, как на крышах в марте. Стали кричать они меня:

– Мить, ты живой? Ответа не последовало.

– Все, – сказал Мишка, – замерз человек!

– погоди так говорить, – сказала ему мама. – Так не надо говорить... Давай вольем в него самогону стакан и посмотрим.

И вот уже Мишка говорит ей:

– стакан-то, Машка, много ему будет. Я половину отопью.

И, влив в меня остатки, они стали на меня валить одежду. Ее было у нас не так много в доме, и они навалили на меня еще рогож побольше. И прошло сколько-то время, может пять минут, может полчаса, как вдруг запело, говорят, под рогожами:

– Рождество твое, Христе боже наш, во сиянии мир свет разума: в нем бо звездам служащим и звездою чахуся и тебе кланится солнце Правды и...

Ну и так далее.

Первая любовь

Все это я знаю со слов мамы. А именно: что?

Мне четыре года и уже мне четыре месяца. И мне мама уже «дает работу» по моему желанию, но ответственную, даже можно сказать – «самую ответственную»: сторожить дом.

Теперь у меня много обязанностей: я обязан утром ранее всех подняться. И пересчитать углы. Так соседи мне говорили: «Ты, мил человек, сперва углы пересчитай. А затем, - говорили, - цыплят пересчитай!» И вот я теперь понял, что эта моя должность сторожа, знаете, она трудная. Я начну считать углы – три и пять, их даже и семь бывает. Потому что я волновался, так что даже со счета сбивался. А цыплят еще даже считать трудней! Их клушка и то не считает. А мама даже мне так говорит: «Цыплят, сынок, по осени считают!»

Но самая беда моя – коршун. Он то и дело цыплят таскает. На Большой улице слышно: «Шу! Шу! Шу!» И от крика этого, всенародного, начинает стучать сердце, как, верно, оно застучало у мамы, однажды, когда началась война.

Великая.

Отечественная.

— Тогда, - говорила мама, - в селе завопили бабы: «Война! Началась война!» И на Большой улице, сынок, мужиков практически не осталось.

— А я, - спрашивал я, уже будучи тогда парнем, - не мужик? По-моему, я мужик?

— Мужик. Но тогда тебе было полтора месяца. Ты еще не работал!

— А когда я стал работать?

— Война уже прошла. Уже когда было тебе четыре года! Ты говорил мне слезно: «Я – мужик! Мужик я иль не мужик?» Я, видя у человека на лице такое горе, отвечала: «Мужик! Ты – настоящий мужик! Я тебя поставлю на работу, на самую ответственную работу!» «Кем?» «Сторожем. Сторожить дом – это самая ответственная работа!» Ты вот как сторожил дом: «Пойма, пойма! Ты не видала, куда коршун унес цыпленка?» - «Видала!» - «Куда? Скажи!» - «Не скажу. Полюби меня, мужик. Тогда – скажу!» Это она тебе во сне так говорила. Ты, когда коршун утащит цыпленка, спрашивал всех. Даже ромашку спрашивал: «Ромашечка, ты не видала, куда коршун полетел?» Даже у коноплей спрашивал: «Конопля, здесь пролетал коршун?» - «Пролетал». – «У него в ногах чего было?» - «Цыпленок». Ты, сынок, во сне разговаривал даже с ангелом-хранителем. Он всем букашкам имена раздавал, а ты – прозвища.

Но я заменю рассказчицу. Мама великолепный рассказчик, но я могу рассказать тоже не хуже ее.

— Река-реченька! Ты не видала, куда коршун унес нашего цыпленка?

— Видала!

— Скажи!

— Не скажу! Искупайся во мне, тогда скажу!

Но я боялся в реке Суре нашей купаться. Потому что, - так мне бабы все говорили, - «в ней знаешь, сынок, какие сомы? Огромные, как киты. Они корову могут проглотить. И тебя, такого маленького мужичка, слопают!» И бабы вдруг захохочут, говоря: «Такого сладенького!»

Но вот однажды, рано утром, - я всегда вставал рано, - выбежал я на проулок. Я не узнал его! Трава за ночь точно выросла! И сколько в траве букашек! Я смотрел на них, и мне казалось, что я уже их где-то видел на другой планете! И клушка – как будто не наша, она – как барыня, вся в расфуфыренном платье. Побежал я за околицу, - и тоже не узнаю ее. А мой ангел-хранитель мне говорит уже теперь не так, как он говорил ребенку. Нет, теперь он говорит вдохновенно, точно стихами:

«Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем – не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух – молоко парное!»

Согласитесь, это похоже на стихотворение в прозе?

«Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами».

Я потом, когда вырос, уже я учился в седьмом классе, нашел эти вот стихи у Ивана Сергеевича Тургенева: «И дымком-то пахнет, и травой – и дегтем маленько

– и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный воздух».

«Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия – родной край».

Россия... Это слово, конечно, мне произнес сам ангел. И оно стало для меня на всю жизнь родным.

Россия – это моя первая и единственная любовь!

Я ее целовал, - все лепестки ее, лепесточки белые. Они –

Нежные!

Пахучие!

Все пахло в пойме медом!

Я туда не бежал, я – летел. Туда, туда – где Она, да, да, вот это и есть самая моя первая любовь. Река. Сура наша Сурушка. И было мне хорошо. Я в первый-то день зашел в воду только по щиколотки. И увидел я свет, что он хорош. Как будто я отделил свет от тьмы!

А во второй день уже я зашел в реку по колена. И снова было мне хорошо.

– Ой, хорошо! – я визжал радостно.

А на третий день я зашел уже по грудь. И снова было мне хорошо. И сказал брат мой Волька:

– Ты смотри! Сомы там, знаешь какие? Они человека враз слопают!

– Не-е, - засмеялся я, уже теперь понимая, что брат шутит. – Ка...ка...

– Чего какаешь?

– Ка-ак хорошо!

А на четвертый день я стал плавать. Брат, конечно, поддерживал рукой мою пузо, еще не приспособленное для морской жизни. Мне брат говорит:

– Плыви!.. Ну!..

Вдруг кеж меня он толкнет на быстрину. Я ору – мама!-то ну. Но не потому я кричу, что очень я напуган. Нет, я так теперь кричу потому, что вижу иную планету. Берега какие зеленые! И солнце, какое прекрасное солнце над головой! И жить, товарищи, как здорово на такой планете!

Если хотите, я опишу вам это чувство святое еще и так. Там она, любимая наша река Сура, имеет две ноги и голову. Голова-то это, то есть, остров; а две ноги – это два самостоятельных русла. Течение быстрое, перекастное, но неглубокое. Здесь можно перейти нашу реченьку в брод. А растительность какая густая «на голове», - тут всегда, каждый год много ежевики и сплавного леса. Мы на реке жили и с ягодой и с дровами. Сплав-то, после затяжных летних дождей, когда идет по большой воде, и вода здесь когда сядет в русло, лес «на голове» остается.

Ночевать, братцы, одно удовольствие!

И не было года одного такого, чтобы наша мама не ворчала. «Присушила вас она! Приколдовала! Это же надо быть такому: все дни, с утра они и до вечера. И еще всю ночь на Суре! Ей вы готовы все отдать! Что это такое... а?»

– Это, мама, любовь, - отвечал ей брат мой Воля. – Наша Первая и Единственная!

Переплыл

Странно: когда начинает цвести черёмуха, та сторона Суры вся белая, точно в облаках стоит, а наша сторона едва-едва зацветает. И поспевает там всё раньше. И если у нас, например, клубника меленькая, то там она, не дам соврать, вот такая с кулак! У нас она кислая какая-то, а там до того она сладкая, что даже мёдом отдаёт. У нас в пойме и ежевики мало и смородины почти нет. А дикий лук горький-горький. И лягушками он пахнет.

Я серьёзно это всё говорю. Мне Волька оттуда привезёт, я попробую для сравнения, но разве можно сравнивать! Никакого сравнения и близко даже не может быть! Жалко, мало привёз! Он в зубах мне привозил. Потому что с одной рукой плоховато он тогда ещё плавал. А я штаны ему караулил за это. Ему, Додону и Лясе. Они у меня спрашивали:

– Чего, Митек, хочешь оттуда?

– Ничего, – отвечал я им, – возьмите меня туда с собой.

Но они меня не брали, потому что недавно Петя Толстый утонул. С бревна. Хотя, кажется, с бревна утонуть трудно. Чтобы с бревна утонуть, надо быть самому бревном. У нас все, кроме Пети Толстого, на них катались. Когда сплав на Суре идёт, мы только этим и занимались.

Вспоминаю.

Вот бревно сейчас плывёт, его, заплыв, останавливаешь. Оно сперва крутится. Или, как мы говорили, брыкается. Иное попадаетея норовистое, прямо как лошадь с характером. Поэтому, конечно, надо обладать сноровкой, чтобы на него забраться. Но как на него заберёшься и на нём поплывёшь по Суре – вот любо! Вот хорошо! Даже спеть хочется. И мы, пацаны, таким вот способом на них катались. А Петьку мы однажды посадили верхом и пустили по течению, мы думали, что он не упадёт, не соскользнёт с бревна, благо бревно мы выбрали по нему, толстое-толстое. Но он и на таком не удержался. Просто поразительно, как это получилось так? Сплав шёл сильный. А когда сплав идёт сильный, то упасть с бревна практически невозможно; даже если оно вдруг и крутанётся, то в этом ничего нету страшного. Всегда можно перебраться на другое. Оно вот, рядом плывёт. Петя не сумел сделать даже такого пустяка...

После того как Петя утонул, нам, пацанам его возраста, родители запретили кататься на брёвнах. И такое продолжалось долго, едва ли не всё лето брат следил за мной, не давал мне возможности прокатиться по Суре. Даже мать про всё уже забыла, а он меня всё ещё опекал. Правда, она ему порку сделала знатную, когда ей наябедничали, что я на брёвнах опять катался.

Короче сказать, они, ребята наши, перебрались на ту сторону. А меня Волька избил, исключительно, как я думаю, для того только, чтобы дома, если я утону, было чем оправдаться перед матерью: я его, дескать, и так и эдак лупил, но он, мам, всё равно...

Ребята перебрались на ту сторону рыбу ловить, а я стою на этой, на опротивевшей мне стороне и не знаю, что делать. Они уже перебрались туда, а я сел спиной к ним и притворился, что плачу. Вдруг:

– Ты, – слышу, – Митек, слышь, Митек, не плачь. Мы тебя сейчас перевезём.

Но я всё равно к ним не обернулся. До тех самых пор, пока не услышал, что они близко уже. Надо ли говорить вам о том, что испытываешь в такую минуту? И что испытываешь, когда тебя перевозят на ту сторону? Первозят! Думаю, каждый знает, что это значит! Сперва тебе позволяют плыть самому до середины реки, а там, когда станешь уже уставать, тебя подхватывают под мышки и, как гусёнка, несут до берега. Однако получилось на этот раз так. Они не дали мне даже обвыкнуться как следует на новом берегу, как уже, слышу я, собираются перебираться все на нашу, на свою сторону, потому что там появился Ляся, который, глядим, залез в воду и стал кричать, что рыба ловится исключительно! Я стал убеждать всех, что он врёт, но мне, слышу, говорят:

– Ну и оставайся здесь...

Я не понял, не успел понять даже, в чём дело. Вижу только, как все уже поплыли. Даже Волька с Витькой, которые меня перевезли.

– Во-оль-ка-а! Вить-ка-а!

А они плывут себе да фыркают. Переплыли! Что я чувствовал в это время, каждый может себе представить сам. И кричат:

– Эге-ге-ей! Привет моряку с крейсера «Вьясс».

Берег, на котором я остался, вьясский. По названию села – Вьясс – они крейсер и выдумали.

И как же, кто бы знал только, слышать было такое обидно! Так было обидно, что я не поднялся даже с места, хотя рядом всего полно: и клубники, и смородины, и чего только нет на вьясской стороне! – но несмотря на это, я не поднимаюсь с места, сижу и сижу, как слышу:

– Давайте картошку есть, она испеклась давно. Эх, вот какая рассыпчатая! Ц-ц-а! – говорят они там.

Я не знаю, как передать вам это состояние...

– Я маме скажу, – сказал я шёпотом.

И слышу:

– Это конечно. Но ты сначала переплыви. Эх, какая картошка, а!

Вот, друзья, с тех пор прошло лет тридцать уже с гаком, но я всё ещё помню, как стал мне вьясский берег не мил. Ну прямо сиротинушка я горькая. Один, без Вольки, без Витьки, без Ляси, и такая тоска на сердце, что, если бы они чуть подальше были ещё и не так их было мне слышно, помер бы я на чужом берегу! А плыть боюсь. На своём берегу я чуть не до половины реки заплыву, не боюсь. А тут залезть – и то почему-то не хватает смелости.

А они крикают, едят картошку и ведут себя так, точно бы меня не существует уже. Если вспомнят про меня, то как будто я чужой им...

– Оставить ему или не надо?

– Кому! Он не переплывёт всё равно.

И я – эх, была не была! – решился. Тонуть, так уж, думаю, всё один конец. И стал заходить я в воду. Но что странно: мне было страшно только в самом начале, когда плыть легко-легко: ведь я на чужом берегу наотдыхался; а потом, чем дальше я удалялся от берега, тем мне было уверенней. Причём, когда я плыл, едва ли помнил про известный наказ: если ты маленький, не переплывал ни разу реку и боишься, то не оборачивайся назад, а плыви и плыви и гляди вперёд всё время. Тем не менее, как рассказывают Волька с Витькой, я плыл и не обернулся, не посмотрел на удаляющийся берег ни разу. Плыл и плыл, даже когда они, Волька с Витькой, кричали, орали мне в две глотки, что-де вставай, вставай, уже мелко, я плыл и плыл. Когда же, наконец, решился встать, то – ба-тюшки! – уже мне по щиколотки. А Волька с Витькой прыгали на берегу, ликовали: «Переплыл! Переплыл!» И мне сказывают: «Голова ты два уха! Чудак ты, чудило! Знаешь ли ты про то, что ты её, Суру, всю переплыл?»

А я гляжу на родной наш берег и не узнаю его: наш это или всё ещё чужой? Только когда набегался, – ой как я по родному берегу носился, говорят! – когда поел картошки, родной нашей, понял наконец, что я дома.

Река

Бегу я на реку.

Так прытко я бегу, что даже дорогу не чую босыми ногами. Ух! Вот я встаю. И – это что такое? – пойма пошла вертеться, как пластинка! Как есть вся пойма – с арбузами, с дынями, с лисами, с зайцами. А я...

Я бегу дальше. Вот уже конопли пошли. Тёплые-тёплые. Их так прогрело солнце, что в них воздуха даже нет. И когда из них выпрыгиваешь, то – смотришь – река Сура. Такая вся милая глазу!

— Ого-го-о! – слышу я, уже голос мой гогочет там на воде.

— Ай-ай-ай, – на песок не ступить – до чего горячий. И какой, смотришь, белый он. Точно сахар! И весь какой ровный. Ровный-ровный. Проползи сороконожка по Пристани – это так место называется, где мы купались, – все сорок ног её, смотришь, на песке.

...Господи, как же люблю я её, Суру. Мне довольно услышать «Пристань». Или увидеть это слово в книге. Как весь уже там я сердцем – на Су-ре! На Сурушке моей милой!

— Чего гогочешь? Рыбу ты нам пугаешь!

Так говорят ребята, когда я подбегу к воде и, ступая в неё, спрашиваю:

— Вить, ты сколько поймал?

— Два ерша. Пескаря. И окунька.

— А ты, Воль, сколько сейчас вытащил?

— Я не считаю... Иди за дровами сперва.

Уже посылают они меня за дровами. Но я не спорю, иду за дровами охотно, потому что в кустах поспела уже ежевика. Я так ее люблю, что даже не боюсь медянок. Тёмные сырые места ими буквально кишат. И крапивы я не боюсь, а она тоже ведь кусается как! Даже волдыри по всему телу идут. И я, если выгляну из кустов и не увижу Демьяна, караульщика на бахчах, то не прочь ещё и за арбузом сползать. По-пластунски.

— Я вот чего вам принёс! – кричу я ребятам. – И вот чего!

— Ступай ещё! Ты Демьяна там не видал?

— Нет... Только, Воль, ты дашь мне за это складник?

— Бери. Он в левой поле.

Но и половить рыбу я не против. Как ребята – капланами, капланчиками. Мы называли так небольшие рыболовные сеточки, которые вязали сами. Из ниток десятый номер. Нынче ловля капланами запрещена. Тогда же мы ловили всем, чем только можно. В Суре её, рыбы, было просто ужас как много. После войны, когда всем жилось голодно, рыба ой как нас выручала.

И вот, бывало, стоишь с капланом, глядишь на пережат, где вода рябая и блестит, как у пескаря пузо. Но вообще-то на Пристани, надо сказать, у нас течение тихое. Вода как зеркало. Даже комара, представьте, видно. И мой брат Волька мне кричит:

— Чё поймал?

— С... сом!

— Выше! Выше! Иди скорее на берег!

— Ох, если упустишь!

— Он...

— Чего?

— ...не лезет в бидон...

И тут скорее из воды вылазишь на берег. И за то, что я не упустил, брат мне все даёт. Чего я только не спрошу. Даже когда скажу ему: засыпь меня горячим песком всего, – он засыпает. А я в горячем песке согреваюсь быстро. С минуточку только одну полежу, зуб на зуб не попадая. Потом они, Волька с Витькой, бросают меня в воду, когда я согреюсь так уж в песке, что в пору печь яйца у меня на пузе!

Вот они раскатали и бросили меня в воду. Бултых!

— Ой хорошо! Ещё меня!

И вот так вроде оно неинтересно глядеть со стороны, как мы проводим время на Суре. Но это ведь как сказать. Бывало, не заметишь даже, как время пролетит до вечера. А вечером, когда солнце начинало садиться, мы пескаря ловили для наживки. Но заходим теперь мы неглубоко, потому что пескарь

для наживки нужен небольшой: чем меньше он, тем лучше. А если живца облюбует щука, то она все равно на перетягу не попадётся. Она перекусывает поводок. Хищница! Сейчас один крючок не жалко, но тогда каждый крючок был у нас на учёте. А поэтому мы живца зацепляем за спинку, и только чуть-чуть, чтобы щука поводок не перекусила, но жука майского и личинку зацепляем, конечно, полностью, как, скажем, червя дождевого. Нам их, жуков, не жалко. А живца, когда он плавает, жалко немножко. Он, как в аквариуме, плавает в кошеле!

Вот перетяги мы поставили. И мой брат, поскольку он нырял с головой, плывёт на берег; а я к нему. Так же нырнуть там и потом, как он, уже пойти сушиться.

А на берегу, смотришь, весь состав налицо – ребята сидят у костра. Пламя видно теперь издалека. Так что если пойдёшь в кусты за дровами, то не заплутаешься. Но нередко бежишь на месяц долго, потому что он, когда всходит, в кустах кажется человеку костром. И как тепло в это время бежать по песку! Ведь он прогрет до самого утра... У костра бросаешь ты хворост на землю и садишься. Сура. Как тихо на ней! Когда ж мальчишки загалдят, вдруг плескнёт рыба! А если в это время с Прорвы возвращается Мишуня, Капитан у него спросит, чего поймал он – улов везёт какой? – Колька Капитан, которого Мишуня «произвёл» в капитаны. Мы спали однажды, а он причалился бесшумно, сошёл к нам на берег и нарисовал ему усы, как у капитанов.

Но вот картошка уже поспевает. Я, поскольку её люблю с сырцой, терблЮ свой край в костре. А про себя думаю: «Зачем обещал я маме прийти ночевать?» И мне кажется, что так же думает мой брат, иначе б он не стал закапывать часть картошки в песок. Она, картошка в песке, будет готова только в полночь.

Он думает, что я уже буду спать. А я не буду, специально вот не лягу, потому что я хочу дожидаться света, и, когда все будут спать, встану и пойду проверять перетяги. Однако сон морит меня скоро. И когда Волька толкает меня в бок, чтобы я вставал есть картошку, я ему отвечаю: «Она сырая... я такую не люблю мотыжить». И я уже чувствую, как в бок, через дыру фуфайки припекает холодом. Просыпаюсь. И вижу такую картину: костёр давно уже потух; по Суре туман ходит клубами; в кустах чирикают птички; песок уже холодный и убран росой; в небе пусто и мутно; у костра храп стоит могучий... Самое время идти проверять перетягу! Но не хочется. Просто сил никаких нет, спать, спать, спать мне хочется.

Я просыпаюсь, когда ребята проверяют уже перетяги. И Волька, держа кошель на плече, толкнёт меня: «Пошли домой, соня». Но, войдя в село, он отдаёт мне кошель свой, с тем чтобы я передал рыбу маме варить и жарить, и сам пойдёт копать жуков, личинок искать в навозе. А я, забежав домой и передав маме рыбу, пойду скорее на крыльцо, потому что она хоть и рада, довольна уловом, но всё-таки ворчит, потому что я обманул её, обещал ей вчера прийти к обеду, а сам вот только когда явился: утром. И на крыльце мне видится всё не так, как вчера, а как-то всё иначе, хотя вроде всё то же самое, что и вчера было: так же говорит радио – идёт первая гимнастика! – и кот на

брёвнях так же умывается: помусолит он лапу, посмотрит налево-направо и, облизнувшись, снова продолжает умываться; ласточки вон сидят на проводах и щебечут; и телёнок кричит вон: «Му-у!...» – голосом своим истощенным; и петух ходит вон по росе и вздрагивает – «кок» – от всякого пустяка; и вон сидит Витек под ветлой, притаившись, потому что на лужайке, посреди улицы, лежит ловушка, её стрижи хватают на лету, чтобы унести в гнездо к себе, и... вон попался уж один; и, подбежав как пуля, птицелов падает: есть! поймал – но я отворачиваюсь от этой сцены, потому что я не карапуз, как он, а уже с Суры пришёл, с ночи! И в это утро свершится такое ещё: мать, напевшись – цып-па, цып-па-а! – зайдёт в избу и, выкладывая яйца из фартука, скажет: «Вы если пойдёте на Суру, то...» – я задохнусь от счастья! Потому что всё! Мы – Волька и я – наравне помощники! А не как вчера было, когда она не пускала меня на реку, так что мне пришлось ещё её упрашивать, обещать ей, что я до обеда только и приду, прибегу же я, мам, обратно; а сегодня – она уже говорит:

– Если вы пойдёте с ночевой, то я не пущу! Ну хорошо, хорошо. Но только до вечера! Придёте вечером? Не обманете вы меня?

Не обманем, мама.

Петухи

1

Вот вспоминаю. Дрались у нас петухи на проулке. Дрались так, что даже я плакал. Все, все петуха нашего били. И я – плакал. Но не потому я плакал, что было его жалко. Нет, я плакал потому, что его били – все, особенно – Фетюшин петух.

Он был как генерал. Ноги толстые, в перьях. Гребешок у него широкий, красный. Он и сам был красный – весь, сиял как радуга после дождя. Сталин. Это у него кличка была такая. А наш петух был тощей, ноги сухие, длинные. Гребешок у него узенький, всегда побитый, бывало, глядя на такого петуха, выразиться даже хочется – Гитлер. И мы так его и прозвали.

– Он, мам, даже Рузвельта боится!

– И Рузвельта боится?

– Ой, мама! Он его как увидит – вот так голову пригнет! – И с проулка бегом на двор удирает.

- Ну это уж никуда не годиться! Если на своем проулке петух не хозяин, его надо заколоть.

Мы его хотели заколоть. Но мама сказала:

- Погодите! Несите его в избу.

Мы его принесли в избу. А мама достала, как сейчас помню, темную бутылку из залавка. В ней был самогон. И она налила его в ложку, говоря нам:

- Открывайте ему рот пошире.

Брат Волька держал его. А я ему рот открыл, – клюв точнее, – и мама влила туда ложку самогона, говоря нам:

- Вот теперь несите и бросьте его на дворе.

Мы отнесли на двор – и бросили его на землю. А как раз по двору расхаживал Сталин, Фетюшин петух. Наш к нему подскочил и, недолго думая, запрыгнул на него. И по башке, по башке ему!

Мы с братом прыгали от радости. Мы кричали:

– До мозга! Продолби ему голову до мозга!

И наш – молодец какой! – продолбил ему голову до мозга. Сталин – глядим – перевернулся на спину. И ноги свои он толстые, в перьях, поднял над головою своей.

– Ой, какой молодец! – сказала мама. – А хотели мы его зарубить.

- Эх, – сосед подал голос со своего двора, – обрадовалась! Ты зачем напоила его, своего замухрышку?

- Я – а? Нет, я его не поила!

- Не поила. А почему ж он такой?

- Какой?

- Он стал, негодяй, как Гитлер!

- А он такой у нас, – говорит мама, чуть не плача от смеха.

А сосед ей говорит, тоже чуть не плача – от досады, что его такого «генерала» побил наш «ефрейтор».

Да он, впрочем, стал у нас хороший, даже и внешне стал он хороший – такой петух почему – то вызывает к себе уважение, так что даже ему хочется насыпать и зерна, и пшена, и горошку с орехами!

- Дядь, дай нам пшеница, – попросил Волька.

- Ну да, – отвечал он слезно. – Я стану кормить его, такого негодяя! – А пшено у него было, потому что он телеги делал дома, на дворе. Ему платили зерном за это, а нам всем, остальным колхозникам, ничего не платили; все тогда в колхозе работали мы бесплатно – за «палочки». Впрочем, и нельзя сказать чтобы уж совсем бесплатно: я всегда носил штаны и рубашку из мешковины, конечно, мама ее выкрасит, но не потому чтобы стал я красивее, нет, это потому, знаете, чтобы скрыть: мешки – то колхозные! И мы таскали: к примеру, когда наши матери в пойме конопли молотят, мы таскали домой семя, а с бахчей – огурцы, помидоры, арбузы, дыни. Этого да того немножко, оно и выходило, что не совсем мы бесплатно. Мы, как бы сказать, натурой получали – а деньгами: нет, нам долго не платили, если мне не изменяет память, уже только при Хрущеве стали, наконец, платить колхозникам деньгами.

И как, спрашивается, заповедь «не кради» соблюдать было тогда нам, колхозникам?!

Ничего. Мы нашли: и зерна, и пшеница, и горошку. Всего мы нашли. Мы его так стали кормить, нашего «замухрышку», что он выправился. И уж теперь он с родного проулка не убегает от Блясова петуха. Нет, он его догонит и начинает внушение делать – показывает территорию, за шею его схватит и водит его по проулку, как бы говоря:

- Ты вот тут, сосед, не ходи! Это моя территория! Понял?

- Ладно, – отвечал тот ему покорно. – Это территория не моя. Отныне она твоя, сосед!

А дядя Митя Блясов, увидавши такое, тоже как сошел с ума. Он – за сердце схватился, говоря:

- Господи! Что творится? Нашего петуха побили. И кто? Замухрышка! Нет, так не может быть. Видеть такое – это выше моих сил! – Но нам с братом –

Конечно, наблюдать такое – на родном проулке! – приятно, до того приятно, что и мне тоже хочется себя показать. И я показываю: так Нужду отдеру (шабра, то есть), что нас хоть фотографируй! Драка такая, что мы весь проулок залили кровью.

И дядя Митя, конечно, тоже своего петуха напоил. Не самогоном: он даже купил бутылку водки, говорит, специально для этого.

Тете Нюре он так говорил.

Он его, своего Рузвельта, – белый у них петух, терял перья он из хвоста, я находил их по всему проулку, белые перья, и говорил маме, что Рузвельт ходит по нашему проулку, мам, как хозяин.

– Ну и что же! Тебе бы уж, и по проулку чтобы не ходил? Так, сынок, жить нельзя. Надо с людьми жить дружно, в мире.

- Давай еще раз...

- Чего?

- ...напоим?

- Иль он бьет нашего?

- Нет пока, но – может!

- Вот когда, – говорит, – побьет... Тогда мы посмотрим!

А дядя Митя кормил своего, – я же все знаю, – отборным зерном, пшеном да с орехами. Разгрызет лесной орех и сам – то он не съест ядрышко, а – выплюнувши на ладонь – поманит своего он петуха, говоря:

- На, милый, на! Набирайся сил, Рузвельт! – Так он любил своего петуха.

И вот, однажды я забежал к ним в избу. И с восторгом рассказываю:

- Дядя Митя, дерутся?!

- Но – о?

- Мить, – тетя Нюра ему говорит, – сходи за водой.

- Да погоди ты со своей водой, – отвечал он, одевая фуражку военную. А может пилотку, – у него и пилотка была, ее носили Шуня (Шурка) и Витя – сыновья, одного возраста с нами: Шуня – Волькин ровесник, и Витя – мой. – Там петухи дерутся! – объясняет дядя Митя жене, тете Нюре, потому, де, мне некогда. Пошли за водой Шуню.

- Он на Суре.
- А чего он там делает?
- Рыбу ловит капланом. Он – кормилец. А ты...

Но нам было некогда ее выслушивать, бабьи жалобы, – мы побежали на проулок. А там – там уже шла война, турецкое сражение, или – если хотите – Сталинградская битва. На траве уже, там и здесь – кровь. И наша мама говорит с обидой:

- Мить, это нечестно! Зачем ты его напоил?

- А ты напоила, – ей возразил дядя Фетюшин, – это честно? Так ему, негодяю! Так ему!

Рузвельт побеждать стал нашего. И вот, казалось бы, надо их разнять? Кровь же льется – трава уже стала красная. Но нет: это так не может быть, чтобы наш уступил Блясову. Не – эт.

– Петя, – говорю я нашему петуху, слезу смахивая с носа, – д – дай ему! Д – дай!

Рузвельт, будучи пьян, так отвалтузил нашего, что я, уткнувшись маме в колени, заревел:

- Ой, не могу! Умру, мамочка, если он не отомстит!

Мы его с братом, – когда он пришел с реки и принес пескарей – много, бидон трехлитровый наловил, бывало, обязательно наловит доверху, а мама их жарила на коровьем масле и со сметаной и непременно с яйцами, до того вкусно, что мы таких пескарей уплетали за обе щеки, – мы нашего петуха, «замухрышку», поймали и сделали ему внушение, говоря:

- Что ты нас позоришь? Тебя даже бьет Додонов – Черчиль!

Да его даже Додонов петух стал побеждать. Ой даже Черчиль! Уже его мы опять собрались заколоть. Потому что он, Додонов петух, залетит на сарай – и орет на всю Большую улицу:

- Эх, я и отодрал его, Митькиного петуха! Всю голову продолбил ему!

– Ладно, – сказала мама, несите в избу. Еще разочек напоим. И, если он уступит ему – Черчилю: все, голова твоя, петя, пойдет под топор!

Черчилль, почувствовав силу и власть над слабым Гитлером, стал смело доходить до нашего проулка. Он и кур даже наших стал водить за собой. Я смотрю: найдет червяка, либо в траве букашку – «ко – ко – ко!» – зовет наших кур он.

А наш Адольф на дворе: он клюет месиво из картошки и мякины, как бы этим нам сказывая: «Я большего и недостоин». Но вот, когда мы его снова, опять напоили. Он – выбежал на проулок. Черчилль курам сказывает: «Погодите. Вон бежит ко мне соперник». Наш петух, не добежав до него так метра с два, остановился. Перья поднялись у них у обоих дыбом. Как ветром подняло их! Молча, опустив носы свои в траву, говорят они друг другу:

- Эх, я т – тебе и дам! Сейчас полетят куски по закоулочкам!

- Посмотрим! Это еще, друг, мы посмотрим!

- Ты пьяный? Тебе сейчас море по колено!

- Нет, я не пьяный. Я – выпимши.

Вот точно так и дядя Митя говорил, когда если тетя Нюра ему выговаривала: «Да ты никак пьяный?! Тебе сейчас море по колено!» – «Я, – бахвалился он, – знаешь ли ты, как бил фашистов?!»

Вот и для пьяного петуха, как и для пьяного мужика, нету границ для бахвальства. Он не боится теперь ничего. Он прямо бежит и не останавливается. Но, правда, соперник пригнется – и наш пролетает через него: мимо! И вот так, опять они так. Наш и рад бы его схватить за шею, но тот не дается. Пригнется – и наш снова мимо.

- Прямо, – хвалит его дядя Митя, – как боксер!
- Чемпионат мира! – говорит дядя Фетюшин, потирая руки от удовольствия.
- Чересчур, – мама говорит, – напоила!
- А зачем ты поишь? – тетя Анюта Додонова спрашивает.
- А зачем он бьет нашего?
- А затем, что он сильнее!
- Эт мы ща посмотрим!

Хороша была драка, даже можно сказать – битва. Вся Большая улица бой этот наблюдала. Час, не менее часа такая продолжалась битва. «Куликовская битва». Потому мужик, Матвей Куликов, это сказал так:

- Они лягут на поле брани! Но – не уступят друг другу!

И точно. До того была битва сурьезная, что и наш петух, и Додонов петух. Оба истекали кровью. И оба они окривели. Ну а такие петухи – это уж не петухи.

2

Наш Адольф, до того ослаб, что на нашести не мог он уже запрыгивать. Картина печальная: стоит около погребницы, всю ночь он – на одной ноге, уже мало что видя. А главная беда – та, что наши куры стали на чужих дворах ночевать. Мама – цып – па! цып – па! – зовет их. А на дворе, поглядим, никого. Гитлер. Один наш петух – подойдет, поклюет немножко.

- Ну где они, – спрашивает мама, – ты за ними почему не смотришь? Где твои сударушки?

- Стук – стук, – стучит он клювом по зерну.

Это клюет он так. Видно, тоже недовольный. Одним глазом он смотрит на двор соседа.

Мы с мамой, взявши мешок, идем к соседу.

- Дядь, а у тя нету наших кур?

- Я не знай. Адыте, чай, посмотрим, – говорит он маме. А мне: – Ты до сколько считать умеешь?

- До ста, – соврал я. - Я до ста еще не умел – но мне хотелось! А сосед говорит:

- Ну, это столько нет у меня кур! Девять кур и петух – это будет сколько? Одиннадцать?

- Нет, – говорю я с ним несогласный, – это десять.
- А, – удивляется он. – Петух с нулем? Это – сколько?
- С круглым нулем, – уточняю я.
- А какие еще нули бывают: продолговатые бывают?
- Нет, – говорю я, не бывают. Нули все круглые.
- А стоят они где? Сзади или спереди?
- Сзади. А спереди – не бывает!

- Много ты знаешь! Нули – они спереди стоят и сзади. Идемте посмотрим!

Солнышко садится, поэтому в сарае, через щели, видно: лучи закатного солнца, как в клубе кино, хорошо освещают нашести.

- Ты сколько насчитал? – он спрашивает.

- Десять и три.

- Эт сколько?

- Десять и три.

- Тринадцать, что ли? – спрашивает он, сомневаясь в моей цифре.

- А ты сколько насчитал? – спрашиваю я.

- Десять и две? Это – сколько? – спрашивает он прищуриваясь.

- Десять и две, – говорю я ему смело.

- Двенадцать? Двенадцать, что ли?

- Да. Это будет – двенадцать!

Мама берет трех и сажает в мешок. Но дядя ей говорит:

- Ты сколько штук сняла? Три?

- Три.

- Верни одну.

- Почему?

- Я насчитал двенадцать. От двенадцати отнять две – сколько будет? – он спрашивает меня.

- Десять, – говорю я. И считаю оставшихся.

- Сколько осталось? – спрашивает он у меня. Я ему опять отвечаю:

- Десять.

Теперь он считает. И говорит:

– А я насчитал одиннадцать?! – говорит так радостно, что мама еще одну сажает в мешок, говоря:

– Чем больше, тем лучше! У нас не одна сударушка не пришла домой!

– Считай еще! – велит мне дядя. – Я почему – то насчитал девять штук теперь.

– С петухом? – спрашивает мама.

– Да. Нет, без петуха, мам, – путаюсь я в арифметике. Однако – теперь считаю я – и у меня почему – то девять вышло.

– Выкладывайте одну обратно! – говорит он маме.

Но доставать из мешка – ей почему – то не хочется. И она говорит:

- Если одна ваша, то завтра она сама прибежит.

- Ну, – соглашается сосед. – А если не прибежит?

- Прибежит, – говорит ему мама. Они все завтра прибегут к вам на двор.

- С нулями? – спрашивает он.

- Да, – отвечает она, – с яйцами!

Но вот уже мы их принесли домой. И мама говорит петуху, который стоит на одной ноге возле погребницы:

- Несем? Скажи – ка слово свое – да построже!

- К – куда – а! Ку – уда – а вы, – закричал он, – убегаете?

А они из мешка ему сказывают:

- К Сталину! Он настоящий петух!

Мы их, вытаскивая по одной из мешка, сажаем теперь на нашести. И чтобы им было нескучно, петуха сажаем к ним. Но он – падает вниз на сено.

- Эх – хе – хе! – говорит мама. – Гитлер называется! Рузвельт и то тебя побьет!

Теперь мы идем к Додоновым – я вперед мамки бегу. Я, прибежавши кричу:

- Тетя – а! Тетя Анюта!

- Да ты чё орешь? Стой! Стой! – говорит она корове, которая, услышав мой крик, стала хвостом колотить по спине хозяйки. – Ай чего случилось?

- У нас ни одной курицы нету!

- Ой, Господи! Я думала – война опять началась!

- С кем? – спрашивает мама. – Опять война – то, Анют, началась?

- С Америкой! – отвечает она из – под коровы. – И Рузвельт на нашестях об этом кричал. Ой, Маша, – говорит она маме. – Наш Черчилль войну объявил Кузнецову.

- А чего?

- Подрались ноня. Я напоила его – а им досадно. Вы чего пришли, – говорит она, вылезая из – под коровы и унося дойницу на крыльцо. – Брысь, – говорит она кошке, которой молока хочется.

- Мы пришли, – говорит мама, рассматривая мешок с дырою, – за курами. У вас нету наших?

- Может, и есть. Адяте посмотрим.

Мы зажигаем фонарь – потому что на дворе теперь сумерки, практически в сарае ничего, уже ничего совсем не видно.

- Ты до сколько считать умеешь?

И эта туда же! Но я ей сказываю:

– До мильена!

– Какой ты приткий! Ты вчера – то считал еще до десяти только?! Кто тебя научил?

– Дядя.

– Фетюшин?

– Да.

– Вы и у них были?

– Были.

– Сколько было у него ваших?

– Три.

– Сколько еще не хватает?

– Шесть.

Она считает, говоря:

- Если я вам отдам шесть, то сколько кур у нас останется?

Я сейчас скажу. Пересчитаю всех и скажу:

- Десять и три, – говорю я.

- Эт сколько? – спрашивает она.

Я молчу. А она сказывает:

– А говорил: я умею до мильена считать!

– Сколько осталось? – говорит она, потому что мама трех уже посадила в мешок.

– Петух с нулем, – говорю я на всякий случай. Может правильно, а может и нет. – Правильно?

– А это сколько? – спрашивает она озадаченно.

– Десять, – говорю я. – Петух с круглыми нулями.

– Он что, – спрашивает она, – несется?

– Нет, – отвечаю я. – Так говорит дядя Фетюшин.

И мы теперь несем кур домой. Я, увидев каляску с прутом, прошу у ней:

– Теть Анюта, дай мне покатать.

– Чего?

– Каляску с прутом.

– Она Витькина, – говорит, – у него и проси.

Но он – на Суре. Чего делать?

– Ладно, – говорит она мне на ушко, – бери. Но утром, дай слово, что вернешь? Поклянись, что вернешь?

– Ей Господи, – клянусь я, – верну!

И вот теперь мы, счастливые, идем домой с мамкой.

– Садись, мам, – говорю я, как говорят шофера, – подвезу!

– В кабинку? Или – в кузов?

– В кабинку, мам.

Еще бы: мать родную да не посадить в кабинку.

А ночь уже, слышно:

– Три танкиста, – поет дядя Митя Блясов, – три веселых друга! Экипаж машины боевой!

Мама с мешком – на двор, а я бегу к дяде Мите, который сидит на завалинке и поет – под балалайку. Он хорошо играет на балалайке.

– Тр – р – р! – останавливаю я «машину». – Садись!

– Куда? – спрашивает он, даже перестав петь.

– В кузов.

– Зачем?

– Поедем немца добивать! Все на Берлин!

– Эти ев корень! – говорит он, и балалайку кладет в сторону. – Вот это команда! Товарищ капитан, разрешите обратиться!

– Обращайтесь, – разрешаю я рядовому обратиться к капитану.

– Можно мне еще сто грамм выпить? За Родину! За Сталина!

– Можно! – разрешаю я.

– Спасибо! Ой, родной мой! Вот за это спасибо! А ты – со мной? Выпьешь?

– Нет, – говорю я решительно.

Он пришел с войны контуженый, речь у него была не совсем чистая. Он слова произносил, как ребенок:

– Почему?

– Я на дежурство заступаю ночью!

– Да, – говорит он крякая и вытирая губы рукавом, пьет по-солдатски. – Это конечно! Нельзя?

– Нельзя!

– А Гитлер – то живой?

– Живой. Но уже падает с нашествий!

– Плох, совсем плох! Мария, – обращается он к маме, которая идет с мешком уже опять за нашими курами. – Ты за Родину со мной выпьешь?

– Нет, Митя. Нам не до этого.

– А за Сталина?

– Нам, – сказываю тебе, – не до этого!

– А чего?

– Куры не ходят домой.

– Вот беда какая! – смеется он. И, взявши балалайку, продолжает песню.

А мы к ним на двор, уже там слышно – тетя Нюра подоила корову. Ставит она дойницу на крыльцо, а кошка трется у ног ее: просит молока парного.

– Вы чего с мешком, – спрашивает, – кур собираете?

– Да. Трех нет – а остальные дома.

– Идемте посмотрим. На, – дает она мне фонарик «даймон», – свети.

Вот это – фонарик. Всем фонарикам фонарик. Армейский. Я, взявши его в руки, пускаю луч. Он до того яркий, что в сарае делается светло, как днем.

– Ты до сколько считать умеешь?

И тут все та же арифметика. Умножение и деление. То есть я еще умножать не умею и делить не умею. Но я знаю: если посадить трех кур в мешок – это умножение того, что называется в хозяйстве достатком. А деление – это когда если делят их, кур: вам – три, а нам – девять. Так тетя Нюра делит!

– И еще петух, – говорю я. – Сколько будет?

– Одиннадцать, – говорит она, подмигивая маме.

– Нет, – говорю я решительно, – это будет десять.

– Молодец, – хвалит меня тетя Нюра. – Он будет у тебя, Маша, счетовод. Из него выйдет землемер!

– Выйдет! А что же останется? – смеется мама – товарищ капитан, заводи машину!

И вот теперь везем (на маминой спине!) кур – то мы на наш двор. Но на прогулке нас встречает тетя Оля – мамина сестра, говоря:

– Слышала, сестра, слышала!

– А чего?

– Да говорят: Сталин побил Гитлера? Вот я, – показывает она на мешок, – принесла.

– Кого?

– Мао Цзе Дуна!

– Вот это по – братски! Вот за это спасибо!

Мы идем на двор – сажаем кур на нашестви. Мы и ее петуха, Мао Цзе Дуна. Его тоже сажаем на нашестви.

– Не упадет? – спрашивает мама. – Не упадет он с нашестей?

– Да ты чего, – отвечает ей сестра тетя Оля. – Это такой петух, что не упадет и с крыши!

– Кукареку! – заорал наш Гитлер. – Я, дескать, петух настоящий! Зачем принесли вы соперника?

Но Мао Цзе Дун лучше. Этот утром раньше всех спрыгнул с нашестей. И когда куры слетели и, было, уже хотели пойти со двора на проулок. Он закричал:

- Куда – а?

- Да мы, петь, только погуляем на проулке.

- Отставить! Я вам погуляю! Так погуляю, что лучше не надо!

И залетел на сарай, возвещая на всю Большую улицу: – Ку – ка – аре – ку – у! Отныне здесь – я! Я начальник двора!

И вот, судари, теперь нашим ушам слышно: ему все откликаются – Сталин. И Рузвельт. И Черчилль. Есть на дворе у нас хозяин. Он не допустит теперь, чтобы куры покидали родной двор. И нам слышно, он говорит:

- Куры: без петуха дуры!»

Грибы

Я люблю собирать грибы. Грузди – особенно. Вот вижу: Большая улица пришла только что с работы и, пока готовится ужин, сидит она вся с раскрытыми окнами и глядит, наблюдает, как по-над лесом курится дымка грибная. И в этот час вечерний выходит – из Листратова проулка – дядя Фетюшин. Несёт грибов лукошко.

– Дядь, – кричим мы с Волькой, выглянув точно скворцы из окошка, – набрал?

– Нету, пустое лукошко несу.

Это значит, оно у него полное. Дядя Фетюшин никогда не скажет правды!

Ложимся спать в такой день пораньше. С тем, чтобы сразу, как выгонят стадо, пойти по грибы. Или, как у нас говорят, за грибами: “по грибы” у нас не говорят.

Однако утром, когда мимо окон идут грибники, я просыпаюсь вдруг и вижу: мама с Волькой уже выходят. «Меня-то подождите», – кричу я им. «Догонишь, –

отвечают они, – если надо». И у меня после этого только одна минута уходит на сборы! И я готов; выбегаю на проулок, который в такой час стоит в тумане, и припускаю что есть духу вдогонку. А сзади голос: «Меня-то подожди», – это Витька Додонов. Я его спрашиваю: разве ты не с народом? Нет. Он хотел остаться – и на Суру. Я, макая сапог в колею дороги, полной воды, говорю:

– Хасан?

– Хасан, – отвечает он, как и я, макая сапог в колею. – Хасан.

Что на нашем языке означает: хорошо! Давай останемся! И мы бы, пожалуй, обязательно с ним остались, если бы, выскочив из Листратова проулка, не увидели грибников.

– Скорее, скорее! – машут нам матери.

Как тут останешься?

А песок за Листратовым двором тугой после дождя. До самой опушки легко по нему бежать!

На опушке, перед заходом в лес, грибники останавливаются, чтобы переобуться. И все улаиваются тут же, как нужно вести себя в лесу. Большеульские говорят:

«Давайте кричать до тех самых пор, пока не отзовется «ау»! И тут же на опушке говорят: «Ну-ка, закрой глаза. Крутись! Ещё, ещё крутись! Где твой дом?» И те, кто хвальбуны самые, – такие у нас обязательно показывают неправильно.

– Вот то-то и оно, милок! – говорят у нас таким. – Когда ты в лесу заблудишься, тогда ты узнаешь, как гордиться прежде времени!

И все заходим мы в лес. Но грибы сперва не попадаются. Первый гриб, он, как правило, долго не попадается, а всё, поглядишь, чепуха какая-нибудь: свинушки перестоялые, бледные поганки, нарядные мухоморы. Ох и нарядны есть! Да никому вы только не нужны такие! А хороший гриб – вот где он прячется?

– Сынок, не отставай. Ты чего притих?

Нашёл. Вот он какой шляпистый! Но уже перестоялый.

А подберёзовик! Да червивый весь уже. Ножку если только взять? Она вроде бы ещё ничего. Улитками немножечко изъедена.

Туда её, в корзину!

– Ты чего, спрашиваю, притих? А? Где ты, сынок? Тут я, тут, мам. Нечего около меня, мам, отираться. Да каждую минуту окликать меня. В грибном деле должна быть самостоятельность.

– Ау! – орут.

Чего орут? Вот он, подберёзовичек: молоденький, крепенький! Ой, какой же он хороший. Поцеловать даже его хочется! А вот два ещё стоят. Да как близко друг от дружки! Корзинка моя между ними не установится...

– Сынок, если не станешь откликаться, то ведь брошу я тебя сейчас...

– Я ничего, мам, не нашёл...

– А почему не откликаешься?

– Я переобуюсь.

– А чего же не переобулся, когда все переобувались? Идём, идём скорее...

Но как я пойду от такого места? Если здесь уже два я нашёл? А ведь там, где два, и третий стоит! И я не иду за матерью, а всё продолжаю кружиться тут, где нашёл. А то ещё даже и назад пойду – на то место, где червивый нашёл. Потому что там, мне кажется, обязательно я найду. Эх бы, белый найти! А вот он с толстой ножкой стоит!

Ох, хорошая какая ножка. Толстая, белая.

А ну-ка, где у меня складник? Сейчас мы тебя подрежем.

Хруст!..

Ой, это чего хрустнуло? Под сапогом чего-то у меня хрустнуло. Валежник? Нет. Это – груздь. Это вот и есть мой любимый гриб груздь.

И как его бывает жалко. Листву раскроешь, а он – глянешь – раздавлен. И снимаешь сапоги. Потому что в них нога не чувствительна. А босая нога их сразу чувствует, когда только наступишь... Листву осторожненько раскроешь и берёшь его, белый груздочек!

А иной попадётся – аж смеешься, до чего аккуратный весь с лица. Но они и с изнанки хорошие, красивые грибы, грузди!

Мне нравится, когда они растут семьями. На иное место нападёшь, а их – особенно если они где маленькие – целая тут семья. И ещё есть рядом, значит, обязательно, – под листвой, где бугорки. Это непременно грузди! Бочки белые показывают. И в этом месте корзину положишь, потом – переведя дыхание – начинаешь. Начинаешь щупать и раскрывать листву. Но на прочие бугорки, которые сказывают, что и здесь ещё мы есть, не смотришь. Думаешь: «Пусть они там подрастут».

Они, грузди, быстро растут. Но если груздь увидишь, глазами на него помотришь, то всё, после этого он уже не растёт. Это, может, правда, а может, нет, но так, во всяком случае, говорят.

Ух ты, сколько у меня уже в корзине! И сядешь, чтобы их перебрать. И когда снимаешь траву и листву с липких шляпок, то опять ими любишься и вспоминаешь, где сорвал, и как ушёл от ма...

– Мама! Ой! – вдруг вспоминаешь про неё. И вскочишь на ноги сразу. И, бросая грибы в корзину, закричишь: «Мама! Ау!»

Не своим даже голосом. Но как тихо в лесу. Тихо-тихо. Народ весь точно провалился сквозь землю! И побежишь. То крича «ау», то слушая – не отзовётся ли кто? Встанешь. Нет, нигде не откликается никто. Только лес один шумит-качается. Одинокий лес без народа страшен!

И я бежал, бежал. И стал уже я спотыкаться. И падать вдруг в ямы. То по пояс, то с головушкой. И не в яму, не в прямок, а в бездонный дол, что не выбрать-ся. День-деньской я так всё и мучался. Ой, товарищи, люди милые!

И стало, гляжу, темнеть. Ночь кругом надвигается. И вдруг – просвет. Поляна? Опушка? Нет. Это была и не поляна, и не опушка, а просека. Это чья-то, вижу, просека!

Чья-то, не наша. Я бы свою сразу узнал. У нас с просеки видать пойму и Суру. Нет, пойму и реку какую-то было видно, впрочем, и с той просеки. Но только не наши это были – река и пойма. Сура в нашей пойме течёт по-вдоль. А эта – чужая река – текла поперёк поймы. Но и вообще, и по всем другим признакам, я бы

сразу определил, что местность мне знакомая. Я очень хорошо ориентируюсь в лесу.

И я сел. На пенёк сел с горя. Как, чую, мягко. Потому что я сел на ужа. И тут у меня прокололо уши. И я услышал – благодаря этому – ау. Мама, мамино! Я его – мамино ау – сразу узнал. А так как я бежал к ней, а она ко мне навстречу, то и, понятно, мы встретились скоро.

– Ты где это был? Я кричу, кричу – ведь оборалась вся! Ты где же это был?

– Где, где, – говорю я ей, – бросила меня.

– А где у тебя грибы? Корзинка где?

– На просеке, – сообразил я.

И мы пошли искать просеку. Нашли. А вон – глядим мы – и корзина с грибами моя.

– Эх, – говорит мама, – сколько набрал. Полну почти! Считай, у себя дома набрал!

– Как, – говорю я, – или мы рядышком от края?

– Да конечно! Вон пойма и Сура наша течёт!

– Как, – говорю я, – это разве наша пойма? И Сура наша?

– Точно так, – говорит, – сынок. Это наша пойма! И Сура это! Ну чего? Ну, ты глядел, значит, не с этой стороны. Вот тебе и показалось! Но ничего, ничего. Заплутавшемуся человеку, сынок, и не такое ещё может показаться!

Словом, я поверил, что пойма и Сура – наши. И глядим, Волька, братан, идёт.

– Здорово, – говорит он, – грибник. Набрал хоть чего-нибудь?

– Да он, – мама ему, – вон каких груздей навалял! Один другого лучше, какие в корзине-то у него!

И она их, мои грибы, взяла и пересыпала. Из моей корзинки в свою корзину. Я же устал очень. Даже ноги уже не идут по лесу. И я сажусь. И сижу долго. Мама скажет: «Пойдём, пойдём, сынок, скорее», но я не поднимаюсь. Но странное дело! Стоило ей сказать: «Эх, ты! А говорил, что на Любке женишься! Да она за тебя такого и не пойдёт!» – как уже я встаю, поднимаюсь и иду за ней прытко. Только грибы не собираю. Если даже он вот, около ноги стоит. Причём, странно, когда домой возвращаешься усталый, грибы начинают сами идти на глаза. Нет, когда же край, наконец, покажется? Шли-шли до опушки. Вот и вынырнула! Наша опушечка милая с кордоном. Потом избы большеульские и сараи стали видны.

– Идёмте скорее. – Мама нас поторапливает. – А то уже вон солнце часов на семь утра стоит.

– Как утра? – удивился я. – А я думал, вечера.

– Ах, как человек заплутался! – сказала мама. И головой покачала. А Волька в это время камней мне накладывает незаметно в корзинку. А чего пустому ходить? Идёт сзади да и нагружает меня.

Ой, сто годов идём из леса домой. Когда утром шли – ничего этого и не было. Пойма откуда-то взялась. И конопли в ней стоят высокие. Мокрые ещё от росы. И как ударяют по лицу!

Долы, горы, реки – это всё вырастает на пути, когда возвращаешься из леса. Но вот наконец и песок начался. Вроде, кажется, наш, Листратов? Вон и следы наши – Додона, Витьки и мои. Вон даже место ещё целое, где мы с ним боролись.

– Я умираю, мам, я ум... раю.

– Щас, щас дома будем.

– Ну мам, понесите меня... хоть немножечко, а? И никто, никто не оглянется даже! И вот-таки дошли мы наконец до проулка. И она, мама, мне рассказывает, чтобы я шёл в избу. Но я не хочу. Потому что – ну чего мне делать одному в избе. Кошку с котятками я, что ли, не видал? И я плетусь за ними на речку. По тропе, вдоль подсолнухов. Увидев шмеля на подсолнухе, Волька говорит:

– Мить, дунь на него!

Это потом он произнёс мою кличку. Которая... но не важно. И я говорю:

– А ты Сидор!

– Ты чего, – он говорит сердито, – обзываешься?

– А ты чего?

– А ты чего?

– Нет, ты чего?

– Нет, ты чего?

Однако мир восстанавливается скоро – пока до реки доходим. На реке мы все грибы вываливаем в воду, в речку, и начинаем их мыть. У меня, поскольку я всех более устал, обязанность попроще – следить лишь за тем, чтобы течение грибы не уносило. Но когда устаёшь – ведь и это тяжело. А после леса на реке всё плывёт, плывёт, так что даже лягушки кажутся на деревьях. И помнится, чтобы не плыло перед глазами, я делаю, бывало, вот что: смотрю до тех пор вверх, пока глаза не станут различать шелуху, которая сыплется с ветел. И всё. После этого уже встаёт всё на своё место. И я начинаю видеть, как течение подхватывает гриб. А деревья – ветлы столетние – глядятся в зеркало, которое Волька сейчас разобьёт камнем. Бултых!... – разбивает он. А мы – я и мама – вытираемся от брызг.

– Дурак! Ну не дурак ли ты, Сидор! – ругает его мама. – Да нельзя же их бить! Или тебе мало дождя?!

– Ой, мам, – говорит он, – правда! Правда, мам, уже дождик накрапывает.

– А вот тебе и рассказывали: не бей лягушек! – говорим мы с мамой в два голоса.

И скорей домываем остатки грибов. Как вот уже дождь шумит по реке. Точно бы это стадо бежит рядом!

– Дождик, дождик, пуще, вырастет капуще! – пляшет наш Волька.

А мы бежим скорее домой. В дверку сарайную протискиваемся все вместе. И когда очутимся под крышей сарая – мы уже дома, тепло в сарае! А куры окружают маму и так требуют есть, что она говорит им:

– Здравствуйте, господа хорошие! И вы проголодались? И вам я, значит, нужна? Всем я, всем, значит, нужна в этом доме!

И наконец изба. Которая соскучилась так по нас! «Здравствуйте, – говорит она, – здравствуйте, хозяева! Эх, я по вас и соскучилась!»

«А я как по ним соскучилась! – говорит печь. – Я уж простыла давно вся, дожидаясь Митьку».

И точно, простыла! Еле-еле тёпленькая.

А мать, наша мама, идёт в чулан с ходу и принимается там грибы готовить. Сейчас, момент, говорит, и у нас лучина будет готова!

А я ей, чтобы не заснуть, говорю чего-нибудь. Чего-нибудь, абы только говорить мне.

– Эх, мам, Волька у нас и неслух! И совсем он, мам, не сильный. Я его намного сильнее. Когда я вырасту, я стану в сто, в тыщу раз даже, мам, сильнее. Я его одним пальцем свалю. Когда я женюсь, мам, на Любке Додоновой, я ему дам! Он у меня узнает, почём шерсть на базаре! – мелю я языком, как мельница. Потом помол помельче начинается. Так что, слышу, мама говорит:

– Ты калякай, калякай чего-нибудь, мельница. А то ведь заснёшь.

– Кто? Я? Нет, мам, нет. Я... – Но язык у меня заплетается. И всё. Теперь меня не поднять, хоть золотом всего обсыпь – не встану.

– Сынок, а сынок, ты не спишь ли?

– Идите, идите с народом, мам, я вас догоню...

Огород

Можно любить кошку. Можно любить собаку. Но, спрашивается, за что же любить огород? Ну за что? Летом, когда все люди купаются, а ты в это время работай! А матери – ей что? Она купаться не любит. Хотя и говорит: “Это и я бы на Суру побежала сейчас, да вот, сынок, огород не пускает! Его надо мотыжить. А то, сынок, как мы останемся в зиму?”

И начнёт, начнёт она... Со слезами и то бесполезно просить. Огород её держит! А сама весь год на нём согласна работать. С самой весны у неё огород! Когда все люди на качелях, она картошку свою сидит перебирает. Забежишь в дом, чтобы пирога взять на улицу, говорит: “Хватит, сынок, поиграл, побегал недельку и давай теперь поработаем. Скоро уже огород пахать, а у нас картошка не готова на семена”. – “Ой, – говоришь ей, – опять пахать! Сколько на свете живу и всё пахать и пахать. Прямо с огородом жизни никакой нет!”

Но, вообще-то, время, когда пахнут огороды, интересное. Я бы даже сказал, жить хочется в это время. Точно праздник у нас! Все, поглядишь, на огороде. Скотина и та на огороде. Иной телёнок, с поднятым хвостом, как пуля залетит с проулка. И прутся на огород куры. Петух впереди, и, поглядишь, семечко не скушает, а непременно передаст он молодке. Кошке и той не сидится дома, идёт на огород, и котят она ведёт за собой. А скворец, наш скворушка, летает низко, червяк волочится по пашне. И что мне ещё нравится на огороде – это когда зацветает картошка. Синенькими, беленькими и голубенькими цветочками. А тыква цветёт большими жёлтыми цветами. И в цветках поют шмели. Басят они, как Шаляпины: “Ох, где я только не бывал! Не летал по свету! Но нет ничего лучше, пожалуй, огородов Большой улицы!”

Вечером варим ужин мы на гумне, на берегу речки Русляйки, из которой поливаем огурцы, помидоры и капусту. И более ничего мы не поливаем, даже морковь и лук мало поливаем. А зачем поливать: морковь, например, сама толстеет в земле. И когда мы сварим ужин на гумне – картошку, как правило, чищеную, – аппетит, какой аппетит на воздухе! “Язык, – бывало, говорит нам мама, – не проглотите, дети!” А Волька вдруг по спине мне стукнет. Так больно, что я, поперхнувшись, говорю: “Ты чего, Волян?” – “Комара убил”. – “Комара! Ну чего он, мам?” А она, мама, на это: “Эх, чай, дай! Дай, чай, ему!”

И пока мы с братом выясняем, кто сильнее, картина такая: солнце за Сурой село; ещё пять – десять минут остаётся, и закатное зарево станет слабеть, утихать оно станет; и тут не заметишь даже, как ночь подкрадётся; от комаров – спасу нет, прямо спасу нет! И тут кто-нибудь удивится на соседнем огороде: “Ой, ночь уже!” – и все, как по команде, сразу загалдят и станут тушить водой костры, на которых сварили ужин и которые людям, пока они ужинали, светили; вот тропы означились уже голосами, это все идут домой спать: кто на сушилах, на новом ещё сене, а кто в избе, но непременно с открытой дверью, потому что спать в избе летом душно.

А утром перво-наперво ты бежишь на огород, чтобы набрать огурцов. Их уже много, ведро наберёшь с одной грядки. За каждое ведро поливки, как говорила мама, на глазах соберёшь ведро. И можно помидоры уже рвать: они хотя ещё и зелёные, но если их положить в сено или в тёплый сапог, то они там скоро доходят. И тыква уже большая: когда ботву разведёшь руками, она лежит на борозде, как, простите мне такое сравнение, свинья. Впрочем, что же я извиняюсь. К ней, к такой тыкве, бывает, подойдёшь даже с палкой и скажешь: “А вот ты где развалилась, матушка!” Между прочим, я очень люблю тыкву, потому что она очень сладкая, особенно которая полежит на сарае до заморозков. Вот эта, друзья мои, хороша! Мы её с сарая скорее, скорее в подпол. Одну – “кубанку”, скажем, – выберем тут же, чтобы завтра парить в чугуне. Бывало, напарит в полутораведёрном нам мама – ох же и хороша! Особенно та, что с подгоревшей корочкой. Вот мёд, так уж это действительно! “Ма, – скажем мы с Волькой, – завтра парь нам в трехведёрном”. А зёрна, какие зёрна! Располовинишь “кубанку”, она – тррк! – как арбуз. И как высторочим из неё их, зёрна, на противень, да как в печь их поставим калиться, да как вынем через полчаса – уже готовые, калёные! – и плюй ты на всё! В полном смысле этого слова: тут мать не ругает, что мы сорим в избе. Она и

сама сядет, даже глаза закроет – как любит зёрнышки маманя! Сначала-то вроде она в горсточку шелуху собирает, а потом и сама – тьфу, тьфу – на пол она. Да и что здесь особенного, взял веник да подмёл всю избу...

Эх, скорее бы уж осень! Но до осени ещё далеко. Ещё даже просо не убрали, и в нём – на всех огородах – стоят чучела, человечки с широко распростёртыми рукавами, а наверху какая-нибудь шапка, старая-престарая, какую, верно, товарник и то уже не берёт. Он, старьёвщик, ездит по деревням в это время часто, и у него, бывало, набирают, покупают: мы, ребятня, удочки в первую очередь и вторую – свистки; а бабы – эти любят украшения: серьги и прочее. Даже мама наша и то, бывало, выберет себе самую красивую брошку. А славно в этом то, что этот ничтожный товар, цена которому, однако кажется, незнамо какая даже, тебе достаётся ни за что, за какую-нибудь лошадиную голову, какую найдёшь в овраге или на том же огороде.

А на огороде всё так и прёт, всё так и прёт! И вот уже, скажем, мать косит ботву, чтобы завтра звать на подмогу. У нас огород был большой, сорок соток. Это, считайте, почти полгектара. Ведь гектар – это 100х100, кажется? Сто метров, ещё точнее, помноженных на сто метров?

И вот набралось к нам человек десять. Всё больше из звена матери, кто свободен от работы в колхозе. И мы выходим копать, рыть у нас картошку. До обеда мы с таким количеством людей проходим почти до бани.

– До меня дошли! – говорит, бывало, Волька. Потому что там, около бани, сорт картошки называется «вольтман». – Я самый рассыпучий картофель!

И в этом брат прав: вольтман действительно очень рассыпучий сорт. И самый, пожалуй, вкусный.

А сколько штук его в курне¹, я со счета уже сбился!

А мама – она говорит:

– Вот насажали тебя, Волька! И не перетаскать! На следующий год – ни вольтманки не посажу! Или только борозд с десяток.

– А вот я, белая! Ну-ка сколько меня будет? Ой, караул! Что ни курень я, то ведро! Меня даже больше, чем тебя. Вольк! Вот так я! Вот так уродилась я нынешний год!

Маму нашу зовут Марией, Машей. И сорт такой есть. А меня не было. Как меня звать – такого сорта не было. Несмотря на то, что я переименовывал все сорта.

– Ма, это я теперь, да? «Митькман» будет! А Волька:

– Нет! «Митькман» не подходит!

– Почему! Волян ты за это!

– Кто бы я ни был, но «митькман» не подходит! Ну коли так, пошли обедать. А то уже вон Додоновы идут с обеда.

– Витя, вы пообедали?

– А вы?

¹ Курень – куст ботвы картофельной

– Мы давным-давно уже пообедали!

– Правда, что ли, Маш? – кричит тётя Анютка, Витьки Додонова мать. – Аль он врёт?

– Давным-давно уже, тётя Анюта! – кричу я. – Ой! – кричу я, чтобы мать моя не расслышала: – И да-авно! Давно-давно мы пообедали!

И, глядишь, они, Додоновы, собираются. А мы – за ними идём следом. Если даже чёрная туча закроет всё небо – собираемся. С картошкой – с ней ничего не случится.

– Её ботвой покрыть надо и айда есть, мамка! И вот мы дома. В избе. Моем все руки и садимся за стол. Нет, впрочем, я не сажусь ещё за стол. Поэтому слышу:

– Хозяйка, это что с ним?

– А чего?

– На огороде так просился есть, а в избе... Как не родной он.

Я улыбаюсь. На огороде – это совсем другое дело. В избе же, мама мне говорила, если народ у нас, то будь немножко поскромнее.

И как ей приятно, что я статью² выдержал!

Но я не стеснительный. Особенно за столом. Вот все ещё, скажем, хлебают щи, без мяса. А я – бум! бум! бум! – стучу три раза по блюду. Сигнал я даю. Пора таскать с мясом! И все потащили с мясом.

Хозяин подал команду! И какое вкусное мясо! Это у нас не мясо даже, а петуха мы закололи. Мы: я с Волькой.

А потом у нас идёт каша. Из нового проса пшено. И оно истолченное утром в ступе.

Мама кладёт масло.

– Раз, два, три! Три ты, мам, ложки наложила! И когда перемешает она всё блюдо:

– Ма, как работник надул попа – расскажи!

– Ой, да, чай, все про это знают? Ну слушайте, раз не слыхали. У попа был работник больно работающий. А поп был жадный. Какой был жадный, таких и жадных не бывает, ей-господи! А дочка была вся в него. Спала она подолгу. Ела досыта. И была бела с лица. Молоком, видать, умывалась. Да. И как они сядут после работы есть, поп дочкин край мазал жирно в блюде. И не мешал ложкой. И всегда он работнику край намазанный подставлял. Работник терпел, терпел, да одна и говорит: “Поверни, господи, чашу, как люблю я дочку вашу”. Все за столом подняли голову на иконы. А работник в это время повернул дочкин край к себе. И так он попа с дочкой и дурил. Поп-та намажет дочкин край жирна-а. А получалось... Это он мазал работнику.

– Мам, а он женился на ней?

– Женился.

– А ты недавно говорила: нет.

– Ну, мало ли что.

– Мам, а расскажи, как поп...

² Статья – здесь: характер.

– Хватит с тебя. Иди-ка подай нам водички.

Эх, как будто это легко! Сама бы принесла. Или пусть Волька. А нет. Он сидит, как поп, сытый.

Встаёшь. Ведь он бегал за ней на колодец. А я теперь, значит, должен подавать.

“Эх, зачем не я принёс, а он? Сейчас бы вот он подавал!”

Вот как не хочется вставать после обеда!

Но когда встанешь, наберёшь воды, то получается выгоднее даже. То бы я сейчас сидел и очереди ждал напиться. А теперь я сам первый! Ковш полный наберёшь и дуешь, дуешь. И ещё бы пил и пил, но народ ждёт. Надо разносить ковш по «заявкам трудящихся».

И как всем пьётся после обеда! Ведра одного не хватает! Принесёшь второе, и опять на дне остаётся. Ковша полтора только. Но это уж попу и мне. А поповой дочке я дам пару глотков глотнуть и... Остальное сам всё выдую.

Ух, напился! И хорошо как в животе стало! Сидишь теперь только и думаешь: «Вот бы дождик пошёл!» Идти на огород желания нет никакого! Тяжело. А таскать как её, картошку, тяжело. Но всё же легче, чем копать. И я бы сказал, интересней. Потому что, когда спустишься с ношей в подпол и там откроешь слуховое окно, – сразу кино в подполе. Луч как в клубе! И как светло с лучом! Зимой с лучиной залезешь, и то не так светло! «Ой, зимой-зимой, до неё ещё, до матушки, далеко. Далеко до зимы, дале-еко. Сто шивырнадцать дней и маленькая тележка с цыганами». Это так мама у нас говорила.

Эх, огород, огород. Не люблю я его. Нет, я его люблю, но только когда его уберут. Я и плети от тыквы повезу с огорода. На самокате. Я их навяжу одна за одну. Штуки по три, по четыре. И вывожу. Пыль до небес аж, как я вывожу! И, бывало, только огород уберём, выкопаем всю картошку, как дни стоят опять сухие. Жаркие.

Это всегда уж так: когда копаешь, торопишься, дожди всю душу тебе вымочат, а уберёшься – опять дни солнечные. Ни дождейки снова не упадёт. Но осень, конечно уж, чувствуется: паутинка летает в воздухе, листва начинает опадать и жухнуть, а та, что ещё зелёная, посмотришь, завтра и она уже с желтизной. Да и вообще ведь это осень: оно, кажется, и тепло днём, и всё ещё солнечно, и, нередко бывает, даже марит, а всё-таки уже не лето. Или лето, но короткое. Бабье, как правильно называют его.

А купаться уже нельзя. «Спас зашёл в воду выше порток, и значит, купаться потерпи годок».

Вот мы сжигаем остатки ботвы. Вечером, так к ночи уже ближе. Стоим все мы в фуфайках, глядим на пламя и грустим. Ведь это, что сгорает, не простое для нас пламя, а горит – лето. Наше лето. Жалко! Как жалко прожитое лето!

Жданка

Не пришла из стада. Ой, Жданка не пришла! Батюшки. Ну как вот тут не скажешь: “Ой, батюшки!”, когда корова не пришла из стада. Да какая корова! Такой, какая у нас Жданка, и во всём мире, как мама говорила, не найти. Умница. Она у нас как человек, только не разговаривала, – а так всё, всё она понимала. Вот дайте чего-нибудь не по ней, как она тут же губы-то свои надует. А вынеси ей тёпленькой водички да ещё туда брось хлебца, и она тотчас из ведра всё выцедит. И губы при этом она сделает бантиком. Пьёт что барыня. И вот нет ее. А как она доила: на Большой улице ни у кого столько не доила. И вот нет её, нашей коровушки! А какое жирное было молоко. Додонов Витька сметану пахтал³. Целый день он пахтал, а я и полчаса не пахтаю, бывало. Опущу я язык в сметану и уже чую: крупинки. Сметана, чувствую, уже с маслом. От нашей пахтанье пьёшь и, бывало, не напьёшься. И вот ее нету, корова пропала! Мы – мамка, Волька и я – распредели-

³ Пахтать – болтать, сбивать масло.

лись скорей, кому куда бежать. Вольке пойма досталась. Мне по селу пробежать. А мамка: «Я, говорит, по всему свету буду её искать!»

Бегу. Бегу я её искать. Площадь пробежал я одним духом. Хотя у нас в селе это место какое-то ненормальное. Там обрыв, пропасть зовёт к себе. Притягивает она, как магнит.

Но почему-то вдвоём легче бежать. Вдвоём подбежишь к краю и, если товарищ, друг надёжный, то его просишь: «Вить, поддержи меня за пятки». И свешиваешься над обрывом. И глядишь – туда. Где – далеко внизу – Русляйка, река наша реченька. Чистая, как слезы.

А сама дорога, ещё я замечу, проходит по самому краю там. Поэтому, когда дадут если вам зимой лошадь, ка-ак стеганёшь, стеганёшь её кнутом, и – когда сани понесутся, полетят под уклон, под откос – кажется: летишь в пропасть. В рай. В тартарары.

Особенно это чувствуешь, когда ночь залазит на площадь. Теперь же я бегу вот, и не чувствую ног под собой. Но – на село я гляжу. Его с Площади хорошо видеть у нас, как с самолёта. И везде, по всему селу: «Бе-е, му-у!» А люди – загоняют все скотину.

Ой, только мы одни остались без коровы! Бегу. И мысль одна в голове у меня только: «Ну где мне сейчас её искать? Хорошо, если она у добрых людей на дворе? А если она у Шкалька, у Шашеньки если?»

Был у нас старичок такой. Бывало, идёт он из буфета, а мы, ребятня, его обступим со всех сторон и ему: «Дедь, дай! Дедь, дай!» – «Ах шашеньки, ах пескарики!» И полезет он в полушубок, чтобы конфеточек оттуда вынуть пескарикам. Всегда он, бывало, одарит нас конфетками, «подушечками». Добрый был. Просто, можно сказать, старичок на все сто. Но у мира язык какой? Живого человека могут очернить, опорочить. Так однажды мне сказали: «Ты не думай, что он, Шкалэк, добрый. Он, Шашенька, всегда с мясом живёт». И это самое «мясо» так на меня повлияло, так врезалось мне в память, что я... Сейчас вот бегу и думаю: «Хорошо, если она у добрых людей. А если она у Шкалька, у Шашеньки если? Зарежет». Я бежал уже Бутырками. И гляжу: он. Шкалэк стоит около своего дома. С ножом в руке. А на дворе у него, слышу: «Му-у!» Голос-то, точно прямо как у Жданки! И такой он, при этом, что мне кажется уже, что он её...

– Ты, – говорю, – чего делаешь? Зачем нашу Жданку, ...а?

Я так говорю, потому что у меня есть ещё надежда. Он:

– Ах ты, – говорит, – шашенька! Что это ты про меня баишь, говоришь такое?

Я велел открыть ворота. Зашли мы на двор с комиссией. С проверкой. И я гляжу: она, Жданка наша стоит.

А он мне опять:

– Да ты что? Что это ты баишь? Ты свою корову аль не знаешь? Или – если это твоя, то – бери. Ну, бери, такой-сякой, если это твоя...

Тут я немножко засомневался. Так он уверенно отвечает мне!

Однако подхожу ближе. Говорю:

– Ждан, Ждан...

А она на меня и не смотрит даже. И я с чужого двора – бегом. Немножко, конечно, я опозорился. Но ведь и то сказать: а если бы это наша была? Я хочу сказать: каково бы мне тогда было, если бы я не вызнал, чья на дворе корова. А он, Шкалёк, я ещё раз говорю, с ножом ведь уже стоял. Да, правильно, я ошибся. Но и что тут такого? Бывает, что и мать родную спутаешь. С какой-нибудь чужой тётей. Когда, скажем, дома сидишь и смотришь на проулок, там мать идёт, кажется. И от радости ты скорее заберешься уже на печь. И даже там спрячешься, голову даже спрячешь под подушку. И не дыша, ждёшь: сейчас – сейчас дверь в избу отворится и мама войдёт наша. Думая, быть может, что меня нет дома. В избе вон тишина какая: слышно даже, как усы шевелятся у мышей. Как вот ты слышишь: «Есть кто дома? А, хозяйева?» Чей-то голос чужой. И... словом, бывает, что и мать родную спутаешь.

И я, в мокрых своих штанах, где Жданку я только не искал!

Но штаны я намочил – вы не подумайте, пожалуйста, – когда Русляйку перепрыгивал. Хотя её можно там, за Бутырками, вброд перейти просто. А я стал на палке, на чегонине, ее перепрыгивать. А разбежаться-то я забыл. Потому что в голове у меня была одна Жданка. Ну и плюхнулся, сорвался с палки в воду.

Я дал большого крюка в тот день. Бутырки пробежал все насквозь. И Кочетовку всю – от края и до края. И всё я выпрашивал у всех:

– Тётъ, ты не видала? Тут не проходила мимо вашего дома корова? Рыжая, комолая, на одном рогу тряпочка?

– Нет, не видала, кренделёчек мой сладенький. Я тут с часа сижу на завалинке и нет, не видала. Не проходила тут, милочек, такая. Я тут с часа сижу, а вот что-то, мой ненаглядненький, кренделёчек мой сладенький, не помню, такая тут вроде не проходила.

А лицо-то, лицо какое сделал. Как луковица оно у меня горькое. Горькое – прегорькое. Так что иная тётка, глядя в глаза мне, и сама, того и гляди, расплечется.

Хотя я своё лицо таким делаю вот почему.

Это чтобы меня не пбили на чужой улице. Знаете, какие пацаны есть отчаянные и злопамятливые. Ты, скажут, помнишь, как бросался камнями на Пристанни, когда мы пришли к вам купаться?..

Ой, какого я дал крюка и мук сколько принял на свою душу!

Бегу.

Уже добегаю до моста я. Тут последняя надежда найти её. Потому что тут, под мостом, она любила хорониться, прятаться. Особенно в обед, когда их, коров, гонят с полудника. Когда и траву они не успеют доесть, принесённую из поймы им, как уже большеульские орут: «Гоним! гоним, бабы!» Дойдя до моста, наша назад – скорее ретируется – и под мост. Потому что по жаре ей идти неохота. И кроме того, я ей там вырыл родничок, чтобы она могла попить из него в любое время.

Вечером она идёт, бывало, с партией большеульских коров от сельсовета. Все коровы идут прямо, домой. А наша, глянешь, вбок. И, задрав хвост трубой, по колючкам, по репьям. И вот уже шумит дном реки. По гальке она идёт. И головой она кивает. Потому что за ней гонятся мухи. Ой сколько мух! Которые помельче –

слепая мушка – стоят столбами. А те, что зелёные (зелёные-зелёные есть, даже не верится, что и мухи такие бывают), – все на неё. И на глаза, и на спину ей садятся. А лягушки при этом, когда она подходит к их бассейну, прыгают. Буль, буль. Но она их не боится. Она подходит смело к родничку. И только она нагнётся, чтобы начать пить, как – та, та, та – телега въезжает на мост. Скачет, гремит по настилу, как по рёбрам. Жданка – чу! – поднимает голову. А лягушки все, сколько их живёт под мостом, переныривают. Точно пловцы в бассейне: те, которые были на этой стороне, спешат, работают ластами туда, на ту сторону, а те, которые на той стороне, – сюда, на эту сторону спешат.

Точно бы вижу всё это!

Бегу. И почему-то совершенно я уверен, что она стоит под мостом. Моя милая.

Нету! Забегаю, гляжу под мост – нету. Стоит чей-то один телёнок. Который... вдруг, как стрела, наутёк. Вот глупый! Мне до тебя и дела нет вовсе. Я думаю, где Жданка.

А может, она уже дома? Темнеть начинает. Ночь вот-вот уже надвигается. Домой прибегаю, гляжу: брат в избе.

– Воль, не пригнал её?

Молчит. Значит, не пригнал... Ой, господи, как на душе, на сердце у меня тоскливо...

– Воль, может, мама найдёт, а?

– Кхы, – кашляет брат.

Вот садится он на сундук. И, слышу я, носом шмыгает.

Я полез на печь, а он:

– Ты куда?

– На печь. Воль... Полежать хочется... Уже темно как в избе...

– Ты что... Жданки нет, а ты... Слезь щас же с печи!

– Слезаю, Воль... Ты на меня не ругайся.

– Да я не ругаюсь. Но нельзя же сейчас спать. Может, придётся всю ночь её искать.

– А где она, а, Воль?

– Да отколь же я знаю? Если бы я знал – что я не пригнал бы её?

Да, это верно. Так я это уж спрашиваю, к слову. Хотя чего тут и спрашивать? И как же сердце у меня за неё болит. Сверчкам и то тошно. «Тринь, тринь, тринь...» – тринькают они под шестком. Вдруг слышим: мама.

– Мама! Мама её, кажись, гонит!..

– Тихо ты! – говорит брат, соскакивая с сундука. – Нет, – говорит, – не гонит, не нашла...

Теперь-то и я это слышу. Хотя и далеко она. У Дядяшина двора разговаривает.

Зашла в избу. И мамишная ну ругаться. А темно в избе. Но, правда, это, с другой стороны, даже и хорошо: потому что, если бы огонь был в избе, то бы в ней было всё видно: кто Жданку должен был встречать от стада, но не встретил! На Суре он пробыл. И вот вам, говорит нам мама, результат. Не пришла!

– И вот где её, неслухи вы окаянные, искать? Куда, куда полез? Нет, ты не на печь, а пойдём её искать! Кто её должен был встречать от стада?

– Он, – говорю я, – Волька.

А Волька:

– Я тебе сейчас дам, Волька! Опять, значит, я должен? Я и ту неделю всю встречал... А нынче какой день?

– Я не знаю, Воль.

– Понедельник, – говорит он мне, – вот какой! Твоя началась неделя! А моя нынче – кончилась.

– Этого он не знает, – говорит ему мать. – Как его неделя, как новый понедельник, так он «не знает»! Где, где её сейчас искать?

И садится. И все мы молча сидим. Какое сейчас решение она, мамка, примет, то мы и будем делать.

– Ну чего же, – наконец принимает она решение, – сиди не сиди, а коровы дома нету. Идёмте искать?

– Кто? Я? – спрашивает в тёмной избе Волька. – Вон он пусть идёт. Раз он так делает!

Но, слышу, встаёт. Идёт он за матерью. Она ему рассказывает, говорит:

– Надо было с Суры его прогнать. А то ни ты, ни он не позаботились...

Ушли. И тишина опять какая в доме!

На проулке мать на Вольку, слышно, ворчит. Но не очень, не так чтобы уж сильно. И в голосе у неё, прислушиваясь, есть надежда, что найдут. И, как говорится, с этим я и засыпаю.

А утром, прогнались когда стада, мы слышим:

– Робята, – будит она нас, – я пойду на ферму: может, там она. Пастух рассказывал дояркам, что днём-то она отбилась от стада и убежала на ферму. Если, – рассказывает она нам, – и там её нету, то я не вернусь. Печь топите сами. Затопляйте. Я вам картошки намыла. И водой залила её...

– Иди, иди, мам, – говорю я ей с печи, – истопим.

– Да уж ты истопишь, – говорит она, – молчал бы уж...

И ушла. Снова ушла она искать её, корову. Но не прошло и часа, как вот она уже – слышу – дома. Да какую радость принесла: нашла! Нашлась наша корова.

Она была у нас – давайте я её вам обрисую – небольшая, средняя, коричневая, но с таким большим выменем, что оно, когда она возвращается из стада, чуть до земли не достаёт, точно у козы, знаете; но особенно глаза у неё были замечательные: смотришь и даже жалко, что на них садятся мухи. И как она, Жданочка, поправлялась: утром, поглядишь, она худенькая у нас, даже за овцами проходит в дверку, но вечером она возвращается уже тяжёлая, дышит устало, глаза у ней, у милой, рассказывают: «Ох, я и находилась ныне, дети мои. Зовите мне маму скорей с дойницей, напоите меня чем-нибудь, да я лягу». И я теперь ей отворяю не дверку, а ворота скорее.

И вот она нашлась! И как изба наша преобразилась сразу! Смеётся изба наша. Чугуны, ухваты, сковородники – и те все звенят лучше. Радостнее! И теперь поспать можно. А то и сна нет. Никакого сна: только заснёшь на минутку, а тревога будит. Знаете ведь как? Даже когда лошадь спутанная прыгает или об угол кто

потрётся, думаешь: не корова ли наша? А теперь – всё. Чешишь хоть слон об избу – крепко теперь спится.

Утром я говорю:

– Мам, я её с полудника не погоню в стадо.

– Почему?

– Я её буду в пойме пасти.

– Нет, сынок, гони в стадо. А то она привыкнет к пойме и не станет ходить в стадо. К завтраку, – спрашивает, – вам квашеного молока вынуть или утешник станете?

– А утешник-то есть, мам?

– Есть. Я там её подоила. Я на ферме взяла два ведра...

Вот такая корова у нас была – по два ведра доила! И как мы её любили, да и только ли мы? К ней пастух Илья и то относился снисходительно. Бывало, говорит маме: «Это не корова у тебя, Ивановна, а мамонт! Она ведь никому не уступает. Вот это – схватилась с Егоровой пыряться: вот как. С разбегу! И бьёт, я те скажу! Быку Николаю Первому не уступает».

Вот такая она у нас! Быку не уступала!

Но телят она не трогала. Никогда. Я её, когда в стаде ей надоест, погоню в пойму, пасу её; она ест, – между прочим, вот так: язык у неё скручивает сразу целую охапку, и обязательно, когда ест, постанывает она. А то вдруг остановится и глядит: дескать, давай со мной, чего ты не ешь? Я начинаю с ней есть. А трава горькая, горькая-прегорькая – проплюёшься от горечи зелёной. Но, правда, за таким занятием время бежит скорей. Вот она, скажем, наелась. И теперь идёт к телятам, и начинает она их лизать. Вот она их лижет, вот их лижет – и морду, и за ухом. А он, телёнок, стоит, как студень, и на ногах качается. Иной от удовольствия и глаза закроет даже.

Но вот я встречаю её от стада не в полудник, а вечером уже (в обед-то я был на Суре, я когда прибежал, а мама мне говорит, что её давно уже угнала) – от сельсовета бегут вон: козы, овцы, ягнята и, наконец, коровы. Хорошо! Благо, тут каждая скотинка всё рассказывает: и где была она, и чего она видела за день...

– Ждана! Ждана! – кричу я.

Потому что это ведь вон она идёт. С партией-то большеульских коров. Я, подпрыгнув, бегу к ней! И... нет, не передать этого. Это надо не с чужих слов, а самому испытать-то, как идёшь с ней рядом нога в ногу, когда закатное солнце окрашивает нас в красное на Раздувановом проулке.

А когда стадо пройдёт, прогонится, вдруг бык из-за угла. По кличке Николай Первый.

– Ой, ой, куда! Куда тебя понесло, окаанный!

Но тут не слушаешь никого, а только его, быка, роющего передним копытом землю, так что ошметья у него летят из-под копыта далеко – через всю Большую улицу.

“Му – у – у...у!”

Как мычит! И он как дыхнёт, пыхнёт на дорогу – пыль аж, чувствуешь, до тебя доходит. Целое облако над ним её! Но он, между прочим, на слабого не набросится. Только когда мужики и ребятня если станут передразнивать его и обзывать

нехорошо очень, он, конечно, не выдерживал. Но, спрашивается, в нём сколько весу? Тонна будет. И пока он добежит до проулка – а ты уже в сених. Пускай хотя и в чужих, но ты всё равно торжествуешь. Рад, что спасся! Но, друзья мои, он может преследовать долго. Он даже во сне может. И тут, чтобы он, Николай Первый, как ночь чёрный и с глазами навывкате, перестал преследовать, надо, говорят, подойти к нему, смело взять его за кольцо и дёрнуть. И всё. После этого он вас будет бояться. Даже когда он пойдёт с войной на мужиков, если вас увидит, он убегает.

А в избе мать цедит молоко. В горшки, которых на лавке: раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ещё седьмой с отбитым горлышком. Но такой, как правило, самый вместительный. Мать цедит молоко, а кошка – мур, мур, мур – трётся об её ногу. Но мама ей: «Отстань. Ты не пасла ни одного денёчка, а просишь. Я вот сперва сыночку».

И вот я сношу горшки уже в погреб. А оттуда, чтобы мне не идти в дом порожнему, я тоже тащу чего-нибудь. Или грибков солёненьких, или огурчиков малосольненьких. Хорошо это всё на ужин! Когда из погреба вылезаю последний раз – на погребнице уже ночь. Но дверь откроешь – ко – ко – ко! – зашевелиятся куры на нашествиях.

А потом, перед тем как уже садиться ужинать, я пить таскаю Жданке. Таскаю, таскаю... А она пьёт. Долго, жадно. И прыдёт, двигает, как я, ушами. Это ведь я от неё научился пряссти ушами. А она... Но довольно, довольно на сегодня, а то и на языке у меня мозоль вырастет большая.

Мятель

Вот вспоминаю. Бывало, делаешь заводь. Где-то уже под ночь, на ночь так уж глядя. И остановишься, и послушаешь: Мишуня плывёт. Он плывёт ещё только на Прорве, переговариваясь с берегами, а его слышно нам с Пристани. Сперва, впрочем, не совсем слышно, с кем он там переговаривается, но ты наклоняешься к воде и слушаешь ухом: это, различаешь, он с тем-то и с тем там разговаривает. Вот, хлюпая вёслами, уже он приближается. По той стороне плывёт. Тихо. Так тихо плывёт, что теперь слышно, как поскрипывают ремни на веслах, а когда вёсла приподняты и лодка плывёт сама по течению, слышно, как капают капли с них. Тут, и на этом и на том берегах, приумолкнут все. Как точно бы сговорившись, и Мишуня, вдруг тишины испугавшись, спрашивает: «Робята, вы где?» И как на ухо это он спросит. Но в ответ ему никто ни слова. И он снова спрашивает: «А, робят?» – «Ты чего, дядь Миш?» – «Да костры-то чего не жгёте?» – «А мятель будет ли?» – «Будет». – «А почему ты знаешь?» – «Месяц больно гнутый...»

Теперь у меня будет такой вопрос. Вот такой у меня будет вопрос. Знаете ли вы, что такое мятель? Едва ли. Его редко кто знает. Мятель – это бабочка. Однодневка. Цветом она белая. Но очень она редкая. Даже, я бы сказал, чрезвычайно она редкая. Я вот пока не встречал ещё такого человека, который бы слышал про неё. О том, что она редкая и в энциклопедии вы найдёте. Только

на двух реках, говорится в энциклопедии, летит эта бабочка. И где именно: на Амазонке и у нас, на Суре.

По моим наблюдениям и по наблюдениям моих земляков, мятель летит только ночью. На костёр. И конечно, это была шутка, когда Мишуня, дядя Миша, сказал, что мятель полетит обязательно, потому-де «больно месяц гнутый». Он, мятель, может не полететь и в такую ночь, когда месяц только ещё родился. Его, вспоминаю, вообще не ждёшь, когда полетит он. Мы один год жгли костры по всем ночам, в продолжение двух недель, и хотя бы одна мятелинка появилась. Мы дрова уже все сожгли, какие были в прибрежных кустах, уже мы устали ждать этого гостя и, наконец, решили: всё, больше не остаёмся мы на ночь! Хватит фуфайки прожигать, в них ещё в школу ходить надо... И мы забыли про мятель, можно сказать, совсем. Как вот однажды, оставшись опять на Суре на ночь, легли мы спать. Все устроились, как говорится, на боковую, но мне что-то не спалось. Я встал и пошёл за дровами, и набрал я немножко сухоньких, и стал разводить костёр. Но у меня спичек не было: я у Вольки, у брата, их взял. Зажёг я и гляжу – мятель полетел...

– Мятель! – закричал я.

Все вскочили. Подбежали к моему костру, поймали одну бабочку и... Нет. Это, говорят, не мятель.

Мне за это, за ложную весть, помню, влетело. А Волька, хотя и брат, не заступился.

— Я тебе, – сказал он, – ещё сейчас добавлю.

— За что? – сказал я.

— Спички не воруй – вот за что!

Но только он сказал, только он так сказал, как, видим, полетел он, мятель. Да такой сильный, что от моего костра ничего не осталось. Мятель его мгновенно завалил, как метель.

– Полундра! – закричали.

А дров нет. Тут бы надо разводить костёр скорее, а у нас нету дров. А мятель, надо сказать, живёт одну только минуту, пока он из песка вылетит и пока летит до костра. Причём так: когда костёр горит хорошо, его бывает видно, как он из песка вылетает: один за одним, один за одним. И уже пурга, метель, смотришь, бушует перед глазами.

Только без костра ничего не видно. Но я чувствую, что он летит. Он ведь как летит? И в рукава. И за шиворот. И в глаза. И в уши.

— Апчихи! – это, значит, и в носу. И в нос он уже проник.

— Аи! – волосы пощупаешь, а он в голове.

— Вот так встань. Вот так, тебе говорят! Ну зажигай, скорее!

А дров-то всё равно нет, дрова нужны!

И мы бросились все в кусты за дровами. А там – бахчи. Караульщик как-то услышал, что отряд мчит с Суры, стрелять стал. Ему кричат:

— Не стреляй, дядя Дёма. На Суре мятель.

— Я вам, – говорит, – дам мятель. Такой мятель устрою.

Бабах! бабах! – в темноте слышим.

Но набрали. Всего мы набрали: и дров, и арбузов. Я, как сейчас помню, хороший арбуз принёс. А мятель? Ну, что мятель? Он, если полетит, то уж полетит. Утром, поглядишь, его на берегу кругом полно. Берега сурные сплошь им устелены.

А костёр нужен тут зачем? Чтобы плясать и торжествовать. Ведь когда костёр горит, он летит к огню, а мы, ребятня, пляшем. И кричим, и орём мы: «Мятель! мятель!» Наплясавшись до головокружения, всяк рыбак говорит ещё, приговаривает: «Мя-тель, мятелёчек». И понюхает его!

Он устелил весь берег. Мы легли даже спать на него. Как, знаете, на вату. Или, как у нас говорят, на «мятельную перину».

Брат, помню, пошёл перетягу вынуть, но вернулся:

— Всё равно бесполезно, — сказал он, — на живца ничего не поймается.

И в этом, надо сказать, брат прав. Рыба — она не берёт в такой день на живца. Рыба не берёт ни на какую приманку в такой день. Рыба — она мятель чувствует.

Но я не пошёл с братом. Он меня позвал, но я, полусонный, ответил, что не пойду, что я спать хочу. Мы арбуз с ним съели, который я принёс с бахчей, и меня так сразу повело в сон, разморило, что я как лёг на мятель — и до утра, до света я проспал.

Очнулся. Гляжу: бело. Белым-бело. Как точно зима это. Но — гляжу — что такое? У костра никого. Уже, слушаю я, все на реке. А ведь обидно проспать в такой день? Когда, тем более, я первый сказал: «Ребята, мятель полетел!»

Но главное, гляжу я, у меня удочку стянули. Ловить мне нечем. А мятеля... Сколько мятеля! Но ловить мне нечем, удочки у меня-то и нет. Однако, шмыгая носом, я набрал его полкармана. И побежал, чтобы Вольку искать. Бегу и вижу я, как в моей заводи голавли плавают. И подузды! И по-моему, дядя Фетюшин на берегу сидит. Со спины вроде бы он.

— Дядь?

— Ну.

— Это моя заводь.

— Да я не знал. Я гляжу, никого здесь нет.

— Ты чего поймал?

— Да вот немножко поймал.

Я подхожу поглядеть. Ничего себе! Вот такого. Да вот такого! Да вот такого! И я говорю ему:

— Это моя...

— Чего?

— Рыба.

— Хе-хе, — смеётся. И стал он закуривать. Я на него так гляжу — пристально, в упор. Обжёг он палец, пересыпал он из сигарки в кисет и говорит мне:

— Ключёт.

Ну а мне-то что?..

— Ты мне дай, дядь, удочку за это.

— За что?

— За заводь.

— Хе-хе.

Но я гляжу на него уже такими глазами, что... он говорит:

— А ты на перетягу. Лови на перетягу.

На перетягу. Кто же ловит на неё. На мятель перетягами у нас не ловят. Но момент был такой, что надо ловить. Все же ловят. Слышно: цок! пок! Вытаскивают всё каких! Плюх! — вдруг сорвётся у кого-нибудь — слышно по реке. И я побежал к Вольке. Но он мне говорит, что он не брал мою удочку и что он не видел, кто её взял. А я ему говорю:

— Ну, дай, Волян, половить хоть мне...

— Да я, что ли, виноват, что ты проспал. Надо было... У! — говорит он мне. — Уйди! Из-за тебя вот сорвалось!

А тут и без того ведь обидно. Да ещё он, брат, так разговаривает. И я после этого побежал. Не помню я ничего больше. Как я перетягу забросил. Зачем я её забросил. И сколько я её держал. Ничего я этого не помню. Только помню, как меня вдруг повело. Да ведь как: тащит прямо меня в воду. И я — карау-ул! — закричал. Тут подскочил дядя Фетюшин. И мы вывели с ним сома, как потом оказалось, на три пуда. А момент, я вам доложу, какой: такого уже большого не будет! Именно? Дядя побежал за помощью. Он, сом, ведь, как кит, здоровый. Такой, что, представьте, когда я на него сяду верхом, он поднимется, и я точно бы на вздыбленном это коне! А крика, а шуму. Рыбаки отовсюду бегут. Да не только рыбаки: вся бежит уже деревня. Уже и там слышали. А мы его с дядей всё держим. Как не знаю даже кого! А все, кто рядом, говорят:

— Надо же... На перетягу попало... Вот как в жизни бывает... И кому, кому попало...

Вдруг, гляжу, полетел. Дядя! Он наступил на сома и, так вот сделав руки, бултых в воду. А мы — я, Волька, Витька, Капитан, Ляся, Вета, — нет, Ляси не было. Ляся не участвовал тогда... тащим на берег. От воды подальше!

А народ бежит, бежит. Вся Большая улица наша! На сома глядеть! И, гляжу я, мама. Мамка наша несётся. С мешком. Потому что утром на мятель бабы приходили и собирали его для кур. Накладут они его, бывало, полный мешок и тащат домой, чтобы кур им кормить. Но в то утро наша мама тащила не мятель, а сома. Народ ей помог на спину, помню, завалить.

— Спасибо, товарищи, — сказала мама и потащила домой.

А я тащил за ней арбуз, который принёс с бахчей ночью. Мы ведь его — вот сейчас я только вспомнил — не съели. А впрочем, может, и съели. Может, и вообще этого ничего не было. Это, может, я вам выдумал всё. Но только, конечно, про бахчи. А про сома я нисколько. Я вам даже поклясться могу, что такие водились в Суре. Вот спросите вы у любого, и каждый вам подтвердит это.

Отец

Лясю вы, конечно, не знаете? Но я хорошо его знаю: мы с ним хотя и не ровесники, хотя и старше он меня года на четыре, но всё-таки играли мы вместе; хотя играть с ним было неинтересно: он что в клёк замучает, бывало, что в чижик. А как он катался на лыжах? Он с просеки даже скатывался, – он да Вета ещё Зотов, – пацан Ляся был отчаянный. Атаман, одним словом. У него, как у атамана, даже был свой бинокль. Вещь, согласитесь, шикарная. Я и сейчас всё ещё только мечтаю его купить. И куплю, если у меня будут деньги, куплю обязательно. А у него он тогда уже был! Но, правда, ему отец привёз после войны. Отличный бинокль. С ремнём, и настолько сильный, что, когда пацаны поплывут на ту сторону Суры за диким луком или ещё за чем, я останусь штаны с рубашками караулить и посмотрю на них в бинокль, вижу, представьте, всё, как будто они вот, рядом со мной, если даже они в это время около бора, то есть, не дам соврать, это километра три от меня, но я покручу колесику – и они рядом, около носа моего; мне даже кажется, что я их слышу там, – «там», я хочу сказать, не в пойме, а – в бинокле.

И однажды они приплыли с той стороны и как стали расплачиваться со мной за карауление – набросали целую кучу: и дикого лука, и щавеля, и борщевника.

«За твою честную службу, – говорят они, – вот тебе, на, получай ещё! А если будешь и всегда так караулить, то мы тебя не дадим в обиду. Никто тебя пальцем не посмеет тронуть у нас в деревне». Но я тут брату говорю: «Воль, я пойду домой, а то мне мама велела огород караулить». А Лясе – этому я сказываю:

– Вась, ты не дашь мне бинокль?

– А зачем он тебе?

– А с ним знаешь как хорошо караулить!

– Да возьми, – говорит он. – Э, на уж, – вдруг говорит, – и пилотку поносить до вечера!

Надо ли говорить о том, как я обрадовался? И как я побежал домой, чтобы караулить огород с биноклем! Только в коноплях я остановился. Смотрю из них, из коноплей, в бинокль, а они, пацаны наши, опять близко! И я бегом. Бегу, бе-

гу. И, сказать вам короче, только дома, когда закрыл я ворота, почувствовал себя поспокойнее.

В ворота – слушаю – никто не стучит и не торкается!

Мать была дома, в избе, когда вошёл я в пиlotte и с биноклем. Письмо она сидела читала. Последнее письмо отцово. Которое он написал химическим карандашом, но таким неразборчивым почерком, что она его читала с сорок второго года! И всё его она разбирала!

«Это он, – говорила она про него, – торопился в атаку, когда его писал».

«Простите, – читала она его по слогам, – писать не могу» руки-ноги заочене-ли (оно, это письмо, было написано, между прочим, без знаков препинания), всё горит, где небо, где земля – ничего не различишь, ма...»

И всё, более ничего в нём не было. Видно, это подняли их в атаку. И он, отец, не успел дописать даже «ма...». И вышло поэтому не совсем понятно, – что он хотел сказать. Или – «мама», или «Мария»? И она, мама, его читала, разбирала снова – всё до буковки! Как, увидев меня, она удивилась:

– Батюшки! Это кто? Что за солдат к нам явился? И тут же, взяв в руки бинокль, сказала:

– Зачем принёс, сынок? Вещь чужая, дорогая. Сломаешь, а потом отвечать ведь за неё придётся.

Мамишная! Всегда вот она у нас такая: сперва обрадуется, а потом скажет: «Отвечать ведь за неё придётся». И как она этим меня обидела, как омрачила мою радость!

Но, конечно, ненадолго: стоило встретить мне Витьку Блясова на огородах, как уже от моей обиды и следа не осталось.

– Здорово! – говорю я Витьке. – Видал вот такое?

– Нет! – отвечает он, поедая меня глазами. – Кто тебе дал?

– Кто! Никто, – говорю я ему. – Это моё! У нас папаныка вернулся. И всё мне привёз!

Я ему так говорю, надо сказать, потому, что у них отец, дядя Митя, пришёл с войны, а наш – не пришёл ведь. Под Москвой он лежит... Кроме того, дядя Митя привёз ему, Витьке, губную гармошку. Да и вообще он, Витька, сразу, как пришёл отец, изменился. То, бывало, мы станем бороться, я его сваливал. А теперь он меня. Хотя он намного меня моложе. На целых шесть месяцев! А как он со мной стал разговаривать? Чуть что, говорит: «Больно ты грозен, как я погляжу. Я папаныке скажу – он тебе даст».

Но теперь вот я ему нос-то и утёр! У нас тоже отец, говорю, вернулся!

– Ты не знаешь, – говорю ему, – чего он мне, папаныка, ещё привёз! На, если хочешь, погляди в бинокль.

И он, конечно, взял бинокль с радостью. А я, понятно, взял его гармошку и стал играть.

Вот тоже вещица хороша! Играет она что надо!

Но так как, я чувствую, мой бинокль понравился ему больше, я говорю:

– На, забери свою гармошку. Мой бинокль лучше!

– Постой, – говорит он, – я погляжу ещё на небо. В бинокль его видно?

– Конечно, видно. В этот бинокль всё видно!

А сам про себя думаю: «Вот какой! Небо он хочет видеть! А я не догадался, не подумал даже ведь про это!»

И у него беру. Но он мне его не отдаёт.

– Постой! Дай же посмотреть! – говорит так, как будто его...

– Дай сюда! А то обрадовался он!

– Я тебе не за так! Ты играл уже сколько!

– А ты глядел уже сколько?!

И мы с ним немного бы ещё и поругались. Но я остановился вовремя, потому что... бинокль-то не мой, а гармошка его – его надолго!

И тут я, пожалуй, почувствовал снова, что ему с отцом жить лучше. И бинокль из-за этого даже стал плохо показывать! И я отдал его Витьке. За хлеб. Его позвали обедать, и он мне сказал:

– Если ты мне дашь бинокль, то я тебе принесу хлеба.

– За хлеб на, бери! Но, – говорю, – только и ты мне гармошку, Витя, оставь! А то ведь бинокль мой намного лучше!

И он домой убежал – обедать с биноклем. А далее уже получилось всё так.

Я гляжу в сторону клуба, а там народ. Как точно кино привезли! Я побежал туда, и верно, кино привезли.

– Чарли Чаплина привезли! – бегали уже по всей деревне объявляльщики, которых за это пропускали тогда бесплатно.

Но мне в тот раз не повезло. Я попросился в объявляльщики, а киномеханик меня не взял. Он выбрал себе другого.

– Ну-ка пробеги, я посмотрю, как ты бегаешь! – сказал он, чтобы меня испытать.

Я побежал прытко, но вдруг споткнулся и упал.

– Э, – сказал он, – ты на ровном месте падаешь! – и выбрал себе другого в объявляльщики.

Но я крутился до начала сеанса в зале. Рядом с ним, с киномехаником. А то ведь, знаете, даст какое-нибудь задание. И за это пропустит бесплатно!

Но заданий у него больше не было. Я попросил у него хотя бы какую-нибудь работу, но он мне сказал: «Ну нету же у меня больше ничего! Где я тебе, дорогой мой человек, возьму её, работу?»

И попросил всех из зала в фойе.

Но, друзья, как хочется попасть в кино! Кажется, всё бы отдал на свете, лишь бы попасть. Впору иди, подходи к контролёру и говори: «На, возьми гармошку, только пропусти меня!»

Но как я могу распоряжаться чужими вещами? Он, Витька, обидится на меня на всю жизнь за это. Да и отец, дядя Митя, не погладит меня по головке.

Смотрю, пройти уже можно. Вон пацаны один за одним ныряют в зал.

Гляжу везде – и сзади, и спереди – нету контролёра в фойе. И я – эх, была не была! – решил, пошёл тоже. И мне бы надо бегом. Как все делают. Нет! Я

иду, знаете, как с билетом. Я, когда дверь открыл в зал, даже остановился и повременил немножко.

Как вдруг окрик:

– Стой!

И тут уж, согласитесь, зачем бы идти, кажется! Когда всё, можно сказать, провалилось? Нет, я пошёл! И он догнал меня, конечно. И хотел из зала вывести. Но на него зашикали, заругались со всех сторон: «Да когда же это кончится? Не мешайте людям смотреть!» И он из рук меня выпустил. Ещё и потому, быть может, что в это время повалили в дверь. Те, кто находился в фойе.

И я подумал: «Повезло мне как!» И уже я смотрел кино, хохотал над маленьким человеком. Так я здорово смеялся, так я раскалывался, что даже за голову брался.

Невозможно прямо как смешно!

Вдруг щупаю – у меня нет пилотки. Её, я сразу вам скажу, снял он, контролёр, когда хотел меня вывести. Но я подумал, что, возможно, я потерял её под лавками. Когда он меня выпустил и я сразу нырнул под лавки. И вот я ищу её теперь под лавками.

– Да кто тут под ногами елозит?

– Пи... пи-илотки нету, – пишу я там, в ногах у кого-то.

Но так и не нашёл! И вышел из зала, чтобы поискать её ещё в фойе. Выхожу я из зала, а он, контролёр, на меня и не смотрит. Когда туда идёшь, между прочим, он сразу заметит. Тут точно не человек вышел, а муха какая, знаете.

И я подошёл к нему, – после того уже, когда обыскал всё фойе, но так и не нашёл её, – и говорю, спрашиваю у контролёра:

– Дядь, у тебя нет моей пилотки?

– Твоя? – спрашивает он, вынув её из кармана. – Нет, постой! – говорит. – Ты сейчас за неё мне ответишь!

И только он это сказал, как вдруг, смотрю, из кармана губная гармошка у меня выпала. Он за ней нагнулся.

– Ой, дядь, отдай! – говорю я. – Это не моя...

– Придёшь, – говорит он, – с матерью. Вот тогда и узнаем мы, чья она!

Ой, ну надо же такому получиться! Вышел, называется! Нашёл пилотку!

Я прошу его отдать, но он мне отвечает... ещё сердитее. Так, что уже и просить его бесполезно. Хоть на колени перед ним вставай, хоть что делай – это всё уже не поможет.

Ой, что мне делать?!

Ведь Ляся за пилотку меня изобьёт. Не говоря уже про губную гармошку!

И я пошёл домой скорее, за матерью. Уже бежал я домой. Как гляжу, выглядываю я из-за Слепковой избы, – он!

Ляся!

– Стой! – кричит он. Потому что я побежал вдруг обратно. – Бинокль и пилотка где мои! – спрашивает он, догнав меня.

– Дома...

– Врёшь. Я был у вас. Тётя Маша сказала, что они у тебя.

– Больно она много, Вась, знает. Вот идём, и ты увидишь всё сам дома...

– Ну идём, – говорит он.

И мы идём с ним к нам. Но тут вдруг с ногами у меня что-то случилось. Ноги, чувствую я, у меня не идут. И я сел.

– Ты чего сел?

– Да ногу, – говорю, – вот подвернул я. Через тебя, Вася...

– Хорошо, – говорит он, – давай я тебя понесу. Садись на меня горшком.

И я, чего же мне делать, сел. Сел я на него, на Лясю. И вот он меня, чувствую, несёт. Бегом, вприпрыжку со мной бежит!

– Ну теперь я сам, – говорю я ему уже на нашем проулке, – пойду. Может, дойду как-нибудь...

Пробую идти: действительно, иду. Шагаю. Немножко хромаю, но всё-таки иду. Вот уже крыльцо. И, опираясь о стенку, поднимаюсь в избу. А там, слышно, Блясовы. А может, это мы к ним, к Блясовым идём? Да нет, вроде наша изба. И мама, слышно, говорит: «Да не было у него никакой гармошки...»

Вот, гляжу, уже в избе. Ляся у дяди Мити Блясова хочет взять бинокль. Но дядя Митя отстраняет его от себя и говорит:

– Нет, постой! Отдайте сперва губную гармошку. Где наша гармошка?

Я молчу. Только моргаю глазами.

– Сынок, ты её брал? У тебя ведь не было её, да?

Я молчу. Уже и глазами не моргаю я.

– Ну и долго ты будешь молчать? – кто-то спрашивает.

Но я всё равно молчу. Разве можно им что-нибудь объяснить. Я гляжу на отца. На фотографию. И... почему-то я его плохо вижу. Совсем уже я его не вижу. Ой, что это у меня с глазами? И кто это так говорит? Громко. Слова, как в бочке, раздаются. Это я заговорил голосом Матки, нашей плакольщицы. Я наслушался ее и ей подражаю.

Вот такие, товарищи, слова произношу я слезно:

– *Тятенька ты мой миленький...*

Да на кого же ты меня, бедного сиротку, оставил...

Да как же ты, тятенька, миленький мой, папанюшка ты мой ненаглядный, не идёшь, не едешь к нам...

И не видишь ты своими глазками, как тяжело мне...

Все меня, тятенька, обижают, не дают мне, папанюшка, житьи.

Приди, папанюшка, приди.

Колодец

– Ой, вкусна! Ой, вкусна! Ой, вкусна!

Так поёт колодец, когда крутишь барабан за ручку. Когда же ладони держишь на самом барабане, на зеркально-гладком месте, он поёт немножко по-другому, уже веселее. Так что если в первом случае это была песня неторопливая, по-русски протяжная, то во втором случае почти что, можно сказать, плясовая:

– Попей! Попей! Попей!

И когда так поёт, ты заглядываешь туда, в колодец, и – во-он улыбается – видишь себя на дне, далеко-далеко, точно бы это длинная просека. Если, принимая ведро, из рук прольёшь, брызги, блеснув на лету, летят бесшумно и так долго, что можно успеть подморгнуть самому себе. И – глядишь – там подмаргивает в ответ. Как вдруг: плюх! Никогда не знаешь, когда там – на дне – плюхнется. И лицо разбивается. Вот принимаешь ведро. Даёшь задний ход цепи и, поставив его на планку, сдунув самые крупные соринки, начинаешь пить. Пьёшь, пьёшь – до тех пор, пока ноги босые терпят. Какая студёная! Вот напился: уже чувствуешь, и у ног, и в ногах вода. И, однако же, ещё охота! Но уже ломит зубы. Но ты их зажимаешь губами и снова прикладываешься.

Сейчас мне хочется рассказать о том, как я лазил в колодец. Получилось, помню, так: собрались чистить колодец, – а чистят его, надо сказать, всегда летом, в воскресенье, когда Большая улица свободна, дома. Собрались чистить, а денег бабам, как всегда жалко. «По пятаку яиц соберём со двора, – говорят, – и хватит с тебя!» Петюне они так говорят, который всегда лазил у нас чистить. Но он, Пётр Петрович Кузнецов, сказал им:

– Да вы что! Я так не полезу. Там же холодина – хуже, чем в погребке.

И на меня показывает:

- Вот он и то не полезет! Ты полезешь за так в колодец?
- Полезу, – сказал я. – Давай сапоги мне.
- Да идём...

И он повёл меня к себе. Думая, вероятно, дорогой: «Сейчас я дам тебе сапоги! Такие найду сапоги, что ты у меня узнаешь!»

Но сапоги он мне всё же дал. Вынул их из-под кровати и бросил среди избы:

– На, иди, чисти...

И вот – теперь уже обутый – я выхожу нашим проулком на колодец.

Волька с Витькой находились в кругу людей. И просились тоже чистить.

Увидев меня, они ко мне подскочили:

– Разувайся!

Но так как я и не подумал этого сделать, они меня вдвоём свалили. И стали снимать с меня сапоги насильно. И один сапог им удалось все же снять. Как сейчас помню, левый. Да они, вдвоём-то, могли бы и оба, конечно, снять. Но спасибо маме: она подскочила и, как петухов, нас разняла.

– Что вы, – говорит, – делаете, жеребцы? Двое на одного!

И я, воспользовавшись такой минутой, без сапога побежал домой. И там успел снять с печи фуфайку и, как была она горячая, надел её на себя. И носки успел я достать из печурки. Тёплые, шерстяные.

Как, слышу, бегут они проулком.

– Открывай, – кричат.

А и дверь-то была не заперта в сенях. Хотя, может, вертушок сам крутанулся, когда я пробежал...

Я выбежал к колодцу двором. И, гляжу, на лужайке валяется сапог. И только я поднял его с земли, чтобы обуваться, как, гляжу, уже вырывают. Сапог вырывают из рук. Но в это время шёл уже Петюня. Как всегда, вразвалочку. И с каждым его шагом мне становилось тоскливо! Я, когда он подошёл, и глядеть на него не могу. «Да что уж, думаю, говорил, иди чисти, а сам... Петюня, ты и есть Петюня!»

А Додон:

– Тётъ Маш, он плачет...

Я повернулся к народу спиной. И стал снимать сапоги. И уже я снял их. Как слышу:

– Ищи, знаешь как, жилу... Мить, я тебе это говорю. Ты её ищи...

Гляжу: батюшки, на меня надевают, напяливают шапку. И велят мне уже садиться верхом на полено. И вот уже я кричу:

– Н-но! Поехали-и!

И стали меня опускать. Мать, говорят, отвернулась, закрыв лицо руками. А я поехал, поехал. Вниз, в глубь колодца!

Вот слышу, как мне кричат:

– Митя, глянь на сруб! Можя, где заменять пора?

– Не. Пока нормально! – кричу на весу, а стоит мне качнуться, я начинаю крутиться. – Пока нормально всё, нормально!

– Митя-а? Это я, Витька.

– Какой?

– Витька Додонов.

– А-а! – Он, гляжу, маленький. Маленький-маленький! Как в перевёрнутый бинокль. – Привет нашим! – кричу ему. – Э-э! Т-там... потише! – Потому что я поехал с такой скоростью, что у меня аж сердце защемило. – К кому говорю!.. – Но вот нормально поехал. – Стоп! Здесь венец гнилой! – кричу. Венец, действительно, гляжу, гнилой. Рукой попробовал – он крошится. И грибы на нём растут.

А вверху галдят:

– Можя, пусть заменит? Нет, нет, спускам, спускам. Это следующий сделает.

И я снова, чувствую, поехал. И чем дальше еду, тем страннее. И всё меньше делаются люди. Но слышно мне их хорошо. И вот что ещё интересно. Я, когда доехал, то не мог сразу ступить, встать на дно. Мне казалось, его нет.

Я стал опускать ногу. Как в пропасть. Когда встал, мне казалось, что сейчас, сейчас провалюсь. Наконец понял: это дно. Земля. А когда верёвку с поленом поднимали наверх, стало опять мне тоскливо. И страшновато даже, я скажу. Потом спустили верёвку уже с лопатой. И стало мне снова лучше. Я её дёрнул с радости. А там – наверху:

– Чего?

– Ничего! Так я просто. Развязал лопату.

И снова дёрнул: тащите! Верёвка поехала, а я стал дожидаться теперь с лопатой. А потом ведро приехало. Ведро такое, как называет его Петюня, «земляк». Это земляк приехал сверху! И вот уже началась работа.

Когда освоился в колодце, первое, что я увидел, было ведро. Гляжу: ведро. Чьё-то упущенное. И я его, вытащив из грязи, послал наверх. А там:

– Спасибо, Мить! – кричат.

– Пожалуйста!

Потом ещё одно ведро нашёл. И ещё раз заслужил спасибо. Кроме вёдер в колодце – чего только не попадалось. И варежки. И галоши. И детали разные от трактора. И даже, представьте, ствол от ружья. А наверху уже знают, чья галоша или, скажем, варежка. «Это знаешь, – кричат, – чья? Это я уронила. Спасибо, Мить!» Но чей ствол, не признались.

И ещё они не признались, когда ведро сорвалось. Только потом, лет десять спустя, мать сказала:

«А ведь это знаешь кто! Это, – говорит, – я. И – ой, сынок! – пока оно летело, я раз сто в обморок падала». А оно, ведро, правда, раз сто ударилось о сруб, пока летело. Когда оно летело, я врос в стенку, а зря. Тут, как правильно говорил дядя Петя, стой посередине и жди. Ведро, если оно летит прямо, наверняка промахнётся. А тут, когда у матери оно вырвалось из рук, не так было. Оно – бах! бах! бах! – считало, и я его руками взял, как скажем, птицу.

И ещё я очень серьёзную ошибку допустил. Варежки сбросил раньше времени. А их надо снимать с рук только тогда, когда уже поднимать станут. Иначе же – я потом и сам в этом не раз убеждался – руки не чувствуют, не испытывают радости, когда поднимают. Впрочем, тогда руки у меня не испытали радости

ещё и потому, что, когда меня поднимали, вожжи были мокрые. Аж склизкие. Когда я садился на полено, то намочил их в воде. А надо было их остановить, когда они были над головой, а я этот момент проворонил...

Ну, вот. «Спасибо, Мить», – кричат мне. Да кричат так весело, словно я не в колодце нахожусь, а на печи греюсь. «Поищи, – говорят, – ещё – ещё найдёшь. Вторую варежку». И они – вот народ! – тащат ведро так, что оно возносится, как птица ввысь. А ты при этом прижимаешься к стене от мысли, что если ведро сорвётся, то... Ведь в лепёшку расшибёт. Мокрое место от меня останется. А то баба какая-нибудь достаёт ведро рукой и так нагибается, что свет загородит наглухо. Э! Кто там опять, такая-сякая! Потому что мало того, что свет она загоразживает, так она ещё и прольёт к тому же тебе на голову.

– Ой, прости! Маленько пролила...

Вот народ какой! Ведь даже капля на голову камнем летит сверху, и, как гиря, она тяжёлая. Вот народ! И я замучался с нашим народом до того, что просто слов нет, как вдруг слышу:

– Сынок! Сыночек!..

– Что?

– Ты... живой ли?

– Если ругаюсь, мам, значит, живой.

– А то вылезай уже, а?

– Не, мам. Я до жилы ещё не дошёл.

Но до неё я так и не дошёл. Замерзать начал сильно. А фуфайка, чую, вся мокрая насквозь, без неё бы лучше даже. А про шапку и говорить нечего. Я её давно послал уже наверх. И ноги горят в воде: как холодно! «Это, – кричат, – значит, жила рядом, Мить!» Но не смог я до неё дойти. Скомандовал подъём.

– Подни...

– Чего?

– Поднимайте!

– Почему?

А у меня язык не поворачивается объяснять. Там посовещались, поговорили и:

– Сейчас, Димитрий Иванович...

Но как долго они собирались! Слов нет. А руки до того заоченели, что, когда стали вытаскивать, только бы, думаю, выдержать. А пальцы – вот так сделал. На замок. И – ходуном хожу, как дрожь бьёт! Еду. Вожжи мокрые, склизкие. И тут я забыл сказать, что, когда вытаскивают наверх, это, братцы, самое трудное. «Брр... братцы!» – вот как дрожь бьёт. Но дрожать нельзя, зубы надо твёрдо-твёрдо делать. И молчать. Даже если оса на нос сядет – молчите. Не обращайтесь на неё внимания. Но главное, как я сказал, зубы... И едешь, едешь. И уж, кажется, всё. Открываешь глаза, и... ых! Только ещё сруб гнилой. Половина только пути...

Когда меня вытащили, то прежде всего я глянул – солнце. Яркое-яркое. А трава зелёная-зелёная. Я хотел шагнуть и... упал. Как косой подкошенный упал. На траву. А она, трава, тёплая, пахучая-пахучая. И голоса людей, ласковые и родные.

До жилы дошёл Витька Додонов. Он, представьте, два раза копнул всего, и вода пошла. Забила.

Зимой

А зимой у нас так. Когда выпадет первый снег... Нет, надо начать немного раньше, когда нету ещё снега, когда Сура, Русляйка, озёра – всё подо льдом. И лёд настолько ещё чистый, что кажется, его нету вовсе. Сквозь него всё-всё видно! Водоросли, камушки и даже рыбу видно, как она там плавает! А жуки водяные, когда опустишься на колени и встретишься с ними взглядом, скорее-скорее удирают в глубину.

Это действительно, смотришь, аквариум!

Но вот ночью выпал первый снег, ты просыпаешься утром и – ах! Так сильно удивляет он, первый снег. И в этот день почему-то ничего не хочется делать. Точно бы выпал праздник. Но капуста всё ещё на огороде. И её надо возить на тачке, потому что салазки не готовы. Их, впрочем, достанешь с погребицы, думая возить на них, но они сломаются тут же: вязки, один и второй, лопнут и полозья, смотришь, падают, заваливаются на бок. А на тачке возить тоже уже плохо – снега много накручивается на колёса. Он, молодой снег, как половик, сворачивается от земли!

А если под вечер подмораживать станет, то в эту ночь все рубят капусту. И ещё завтра весь день провозишься с ней. Но рубят её в охотку. В больших корытах, выдолбленных из дерева, как правило, из ветлы. А тяпки – эти похожи на топоры опричников. И я догадываюсь, почему их такими красивыми делали. Такими охотнее рубить. И кроме того, когда её, капусту, рубят, обедают, бывало, как на празднике: тут щи обязательно варят мясные, кашу – для этого вставали рано утром и толкли просо в ступе – с тыквой. Эту парили. И выбирали только самую спелую для такого дня.

И так до Нового года, а то и до марта, – стол у нас был богатый.

В это время приятно повечерять. Обычно не мы, а к нам приходили соседи. Я любил, когда к нам приходил Мишка Новиков. Который даже курил не как все, а по-особенному. Ко! ко! ко! – пускает он кольца изо рта. Такие хочешь потрогать

рукой! И он меня поднимет до потолка, а то, для полного удовольствия, ещё и Москву мне покажет! Но уж и я ему за это, когда он попросит бумаги на сигарку – скудное было то, послевоенное время, – срываю сразу несколько листов от численника. Для такого человека ничего не жалко! Он и по правде такой – за добро платил добром. Бывало, не откажет, если его попросишь: «Дядя Миша, заморозь мне ледянку». – «А мать-то чего?» – «Да она говорит, всё ей неколи да неколи!» – «Да ведь и мне тоже, голова, неколи! Но надо заморозить, чего же! Как мальчишке жить без ледянки!» И заморозит такую ледянку мне, что я на ней скатываюсь с Поповой горы. Даже по глубокому новому снегу лечу на ней до реки. До самой Русляйки! До проруби. В которой бабы полощут бельё.

А на масленицу он, Новиков Мишка, наряжался. Наденет полушубок наизнанку и, смотришь, стал он медведь. Да как заревёт он, да как побежит он за человеком. Вот потеха так потеха!

Масленица – славные дни! Всю неделю пекли блины. Но после маслиницы – плохо. Хотя и в этом времени я теперь нахожу немало интересного. В самом деле, разве не интересно дожидаться завтрака, о котором думаешь с вечера уже? Первое, что говоришь, произносишь с печи, бывало: «Мама, есть охота». А в ответ слышишь: «Да я печь затопила только». И она велит поспать ещё. Я закрываю глаза и... Солнце, смотрю, лоб выказывает из-за горизонта. Лето, смотрю! Лето! Травка, смотрю, зелёная. И какие в ней букашки: все в новых сарафанчиках, в косыночках нарядных!

Не знаю, как кому, но мне снились именно такие сны. А замечательно, по-моему, то, что всё это снится зимой, когда морозы стоят такие, что даже просыпаешься. Потому что там, на улице, как колотушкой кто ударит по избе.

И разве не замечательно, что после таких морозов приходит наконец весна? И всегда она так. Конец марта и начало апреля мы ездим всё ещё за дровами на салазках. И до того надоест ездить, что мы с братом говорим: «Ма-мишная! Ну, куда, куда нам столько дров? Перевозили всю пойму, а зима ещё долго!» – «Долго? И не заметите, как поплывут дороги и пути все». – «Да! Ещё жаворонки не прилетели». – «А грачи прилетели! Я сама видала». – «А скворцы нет?» – «Скворцы нет. Но скоро, скоро и скворцы прилетят».

Но нет, не летят они, не прилетают. Даже когда перестанем ездить за дровами, не летят они, всё ещё не прилетают. Но хоть в пойму не ездим, разок разве что, другой только мы съездим. По насту. А по нему, если ночи стоят морозные, рано утром так приятно бежать! Но днём тепло уже. Солнце глаза слепит на улице. С крыш хлещет вода рукавами. И всюду, куда ни ступишь, вода под ногою. Даже накатанная за зиму дорога становится мягкая.

И вот завтра, я встаю утром, выхожу на двор, со сна слепой ещё, и смотрю: скворец! Сидит он на скворешнице! И свистит он: «С-сосе-ед! – Додонову, видно, скворцу. – Я здесь остаюсь!» И вдруг он запоёт. Да так, что и мама услышит его за стряпнёй. И они вместе с Волькой выйдут из сеней на цыпочках. А я говорю: «Мам, он...» – «Тихо ты!» – шёпотом останавливает меня брат. – «Он...» – «Чего?» – «Да тихо ты! – И едва дыша: – Он же ведь может передумать. Мне кажется, мы с тобой молоток забыли в скворешнице...»

Но это уже весна. На Большую улицу её приносят скворцы.

Полая вода

Сура в дружное большое половодье заходит у нас в Большую улицу, и тогда дома, наши избы – как пароходы. Это особенно бросается в глаза утром, когда топятся печи. И мне это всё очень нравится. Но в детстве, вспоминаю я, мне это не нравилось. Я тогда завидовал Горе и Бутыркам – улицам, которые не затопляет у нас. Там в раздопольные дни идут игры, бывало. И в лапту играют, и в городки. А я, как Иван запечный, всё на своей печи лежу. И смотрю с неё на то, как перевозят коров, овец, свиней – те, кто живёт у самой околицы и кого она, полая вода, вытесняет из домов. Но кур у нас и тогда не вывозили. Они, посмотрю я в заднее оконце, сидят на сараях. «Кукареку!» – вдруг слышно надо мной. На избе петух наш горланит.

А лодки своей у нас не было. И у Додоновых тоже не было. Поэтому мы, Витька Додонов, Волька наш и я, пристраивались к кому-нибудь, у кого есть лодка. Я – к Сторукому, к деду Листратову. А Сторуким его звали, между прочим, за то, что у него, действительно, будто сто рук было. Он всё умел делать: и плотник был, и бондарь, и печник, и садовод. Я очень хорошо помню, какой у него сад был у реки! Или даже уж вот: кому надо вставить срочно разбитое окно, тоже бежали за ним. Поэтому у него и стеклом можно было разжиться. Лютой был и безотказный. Но, как всякий старый мастер, знал себе цену. И когда, например, вставляет он окно, работает, то с ним и заговорить боязно было. Но мне он однажды сказал, прежде посмотрев на меня ласково: «Иди-ка сюда. Вот какая у меня игрушка. Сама режет она стекло». И это меня, помню, страшно удивило. Как это? Вещицей, которая даже не похожа на нож, можно резать? А он, гляжу, в самом деле режет. Этой своей вещицей. И как режет? Он взял в одну руку линейку, во вторую – этот свой стеклорез, и слышу: тррк! Потом приподнял стекло, постучал по нему – с тыльной стороны стамеской, – и, смотрю, действительно! Уже стекло разрезано! Да как хорошо, ровненько: я даже рассмеялся. А он глянул, посмотрел на меня и тоже рассмеялся. И таким показался мне он славным, милым сразу, что

мы с ним подружились. И как мы подружились! А я уже говорил, какой он был строгий. Никого не прокатит, бывало, по полой воде. Хотя как проси его об этом.

Но за мной он сам заезжал, подплывал на лодке к дому. А ведь что значит – покататься на лодке? Когда на печи до того надоест лежать, что впору запрыгивать самовольно в лодку! Я вот – мне уже сколько теперь лет – а всё ещё помню. Точно перед глазами всё сейчас вижу! Мы с ним плывём по полой воде после рыбалки. Разумеется, я стал рыбачить с ним, когда подрос, с того года, как в школу уже пошёл. На воде вечер, тихий вечерний час. И наша лодка домой не торопится. Замедляет она ход. Вот и совсем останавливается. Он, Сторукий мой, наклоняется к воде. Щупает её любовно. А ухом при этом слушает время.

– Девятнадцать часов передало радио. Значит, сейчас пройдёт ульяновский.

И верно – уже идёт. Угу-гу-у!.. – голосит поезд, находящийся за много-много километров. Но его слышно на воде так, как будто он рядом. Прогрел по железному мосту, он идёт тише. Тише, тише. И, наконец, совсем затихает где-то. Как вдруг снова появляется. Только не там, далеко-далеко где-то, а кажется, под нами он, под землёй бежит.

– Фр-р! – фыркает водяная крыса, вынырнув из воды топляком.

Вон плывет медянка. Оставляя на совершенно гладкой поверхности след. Длинный и рябой, как вожжи. Садится солнце. Круг его настолько большой, что глазу видно, как «там кипит». И как заметно оно погружается в воду! Кажется, вот только что целый был круг, как уже низа самого нет. Я поворачиваюсь в другую сторону и забываюсь ненадолго. Вот снова гляжу на солнце. А его уже нет. Половина почти что! Вот осталось и того меньше. И очень хочется дожидаться самого последнего момента. Вот чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. И...

– Всё! Село! – говорим мы одновременно. Красиво!

Но как-то раз мы поругались с ним. Я возвращался, помню, с Суры, потому что клёва не было. Да и рано ему ещё в эту пору: Сура с неделю только как села в русло, может, чуть больше, и было сыро и грязно в пойме. Но ходили, примеривались мы уже ловить на червяка удочкой, хотя в эту пору нечего даже примеряться: он, настоящий клёв, начинается со светлой, чистой воды.

Ну и в один из таких вот неинтересных совершенно дней возвращался я домой. На пути у нас – не знаю, говорил я или нет – протока, вытекающая из старицы на старую мельницу, которой давно нет. На том месте, где была мельница, всё поросло черёмухой, шиповником и ежевикой. Протока небольшая, а где-то к середине лета она становится и вовсе уж маленькая, так что, если день жаркий, её переходишь, бывало, не закатывая штанины. В ней-то они и стояли, «Листратовы посудины. Верша и, по-моему, крылатка. Это сейчас, скажу я, мы бы не стали ставить верши да капланы, мало теперь рыбы, беречь её надо! А может, мало-то и потому стало, что не берегли её в своё время.

Начал я с верши. Вытащил её из воды. Батюшки, гляжу, сколько рыбы! Полным-полна! Она шумит, стрекочет, бьётся. А рукой до неё дотянешься – не даётся. Выскальзывает! Рыбу, её, знаете, не ухватишь сразу. Но вот-таки схватил!

Сперва, гляжу, чего? Плюх! Ушла. Даже пискнула от радости! Но ничего, там её много у деда. Вот: иди-ка сюда! Язь. Язь ты мой хороший. Иди-ка в кошель! А вот ещё! Это кто? Плавники, как у язя, но не красные. Подлещик. Это

подлещик. Потому что и ротик у него маленький. Ох ты мой милый. Сладкий. Но иди, иди и ты уж в кошель!

И сказать вам короче, он, дед Листратов, меня застал за этим интересным занятием. И поругал. Даже, помню, за ухо меня оттрепал. Хотя, вообще-то, если так уж разобраться, и не за что было. Я вам честно скажу, что я тогда хотел ему домой рыбу отнести. «Будто бы! – обычно говорят мне на это. – Знаем мы, как ты её хотел отнести!» Но, друзья, говорю я, сколько тогда рыбы было! Сколько оставалось в пойме! В каждой яме по ведру. А раков сколько! Страшно было наблюдать за ними, как они в болоте копошатся. А ракушек сколько оставалось! И какие они большие: осенью, на бахчах смотришь, иной арбуз лежит, – ну прямо как на тарелке перламутровой!

А один год, вспоминаю, полая вода тоже была большая. Неделю стояла она, больше ли, ударил мороз. Да такой сильный, что мы по льду ходили. Потом разом, днём одним отпустило, лёд стал под нами проваливаться (а там, под льдом, как в стеклянном тоннеле) – и боже ты мой! Сколько рыбы осталось! Сома нашли – знаете, с кита будет. Мы его всем миром ели. Вот какая была вода!

Мама

По природе своей мать у нас здоровая. Она в дни делёжки сена, например, как есть копна в пойме, так и тащит её на двор. Вернее сказать, таскала, сейчас она не таскает, сейчас ей носят уже. Пенсию. Валька носит Гринина. Почтальонша. Моя двоюродная сестра, кстати сказать. А тогда было не так. Тогда, в дни делёжки сена, сосед дядя Фетюшин завидит её и говорит: «Машк, эт ты?» – «Я». – «А я думал, это к тебе стог сам идёт». Насмешник покойник был. Но, надо сказать, мужик скупой. Тачка на дворе стоит без дела – и не даст. У нас, конечно, была своя, но что-то в тот день с ней случилось. С тачкой всегда что-нибудь да случится, в самый момент, когда нужна тебе позарез. И они, мать с Волькой, братом моим, таскали сено на себе.

Досушивал его на проулке я, ворошил и охранял от скотины, чтобы раньше времени не лезла. И, понятное дело, между делом бегал искупаться на речку. И сколько там пробыл, тоже сейчас не помню, но вот прибегает на речку сосед и говорит впопыхах:

– У вас с матерью плохо.

И так он это сказал, сообщил торжественно, что я подумал: врёт, поди. Это она его послала специально, чтобы я сено шёл досушивать. Но домой, конечно, пошёл. Тут, когда сенокос, время горячее, люди все сердитые, тут, того и гляди, за каждую минуту пустую получишь взбучку. Забегаю в дом. Действительно: она лежит, гляжу, на кровати и стонет. Не стонет, а я бы сказал – кричит: «Больно! Ой, больно!» Но, несмотря ни на что, соседка Манька Фетюшина говорит ей: «Ты держи, держи, говорю, и будет лучше. Ты, главное, терпи: перетерпи и тебе будет лучше». Но что именно она велит? Лёд держать на животе. А мать и полминуты не держит: «Ой, хуже! Ой, убери, убери за ради Христа!..» И как она это говорит! Так, что мне хочется оттолкнуть Маньку от кровати и помочь чем-нибудь. Но вот мать сказала, что уже лучше: «Мне, Мань, лучше, лучше. Дай мне минуту хоть подышать». И Манька отступилась. И стало мамке лучше. А вот

уж она и смеётся: «Эх, как человек устроен! То не болело, не болело нигде, то вот на тебе. И хотя бы не самый сенокос, а... Ой, господи... ой! ой! ой!» И опять, опять ей хуже. До того стало хуже ей, что крик её был слышен мне от конюшни, куда мы, я и Волька, побежали за лошадьё, чтобы срочно везти её на Вьясс. Это решил Николай Иванович, наш фельдшер.

Николай Иванович написал конюху записку, и мы с этой его запиской побежали на конюшню. Конюха там не было. Волька оставил меня дежурить, ждать на случай, если появится, а сам побежал искать, где только можно. И пока я стоял на конюшне, мне было слышно, как мать кричит.

Короче сказать, увезли её, нашу мать, на Вьясс, в больницу. Сопровождающими поехали Николай Иванович и Волька. Меня не взяли. Мне она сторожить наказала дом.

И сено собрать всё в одно место: в копну. «Если, – сказала она, – не совсем высохло, то назавтра его маненько раструси и до обеда, если будет солнышко, дай подышать. Но смотри, как говорю я, еде... ой! ой! Поехали!»

Я всё, конечно, исполнил, как мне было велено и даже больше: встретил Жданку от стада, загнал во двор, напоил, принёс сена с проулка и даже хотел сам подоить. Но она не далась. Она и соседке с большими уговорами дала себя: я, пока Манька доила, скормил ей целое ведро картошки. И она мычала. Даже ночью: выйду во двор, а она в тревоге. И мне казалось: это она мамку кличет. «Она, Ждана, ты не беспокойся, не приехала ещё. Мама поехала на Вьясс по делам». И так мне, признаться, горько было, что, кажется, я даже всплакнул. Стыдно признаваться, но когда Волька вернулся поздно ночью домой, он меня чуть не отлупцевал за это. «Прекрати, говорю, скулить. И так тошно».

Наутро печь не топили. И оттого ещё хуже было на душе – всё бредило её: куры квохчут, поросёнок визжит, ярка блеет. Её, ярочку, соседка второпях забыла на дворе, когда со двора всех сгоняла, и день-деньской она: «Бэ-э!» Всё нутро насквозь проблеяла. А тут ещё Волька ругается, что у меня из рук всё валится. Как хорошо было, когда мать управляла домом, а не он! У него ничего у самого не получается, а я виноват. Во всём, во всём я ему мешаю: он станет выносить помои, споткнётся в дверях, разольёт – я виноват. А зачем навстречу шёл? Или рядом стою с ним – зачем стоишь? Даже на ногу когда мне наступит Волян – я виноват.

Но что особенно удивительно: как у матери всё получалось само собой в доме? Ни у неё куры не квохчут, ни поросёнок, ни ярка не останется. Вернее, может, и у неё все квохчут, ну так и что: квохчут, и пусть себе. Этого и не замечаешь. То есть замечаешь, но придаёшь этому значения ровно столько, сколько комару. И всё прекрасно ладилось. А тут: что ни час – всё в доме идёт кувырком. День один прошёл, а дом стал наказанием. И такой тоской всё в нём задышало! И если бы в доме только, а то и вокруг всё немило – и пойма, и лес, и река. Я попробовал искупаться – не купается. Постоял, постоял на берегу и поплёлся домой.

А когда настал вечер, собрались люди на брёвнах.

– Мить, ты в фуфайке, аи те холодно?

– Да, -то неньким, голоском им отвечаю. И слышу:

– Да, бабы, скрутить может человека в одночасье. Машка вот думала, сто годов будет такой, а вот как получилось.

– А чего?

– Ну, чего: загнулась. Орала, индо на себе всё до костей разодрала. Кричала: ой, вот тут, вот тут у меня нож. Дайте, байт, я лучше зарежусь – как орала. А ить тоже ей вчерась говорю: «Машк, да, чай, ты не по стоку таскай. Аи тебе не будет перетаскать время?» – «Ну тя, байт, Дуняша. Неколи мне с тобой».

– Двужильная была.

– А вот загнулась.

– Это её дом ещё подкосил, а не сено. Ну-ка, одна баба, без мужика, отстройся. И железом покройся. Вот чего её подкосило. Мить, на, иди, зёрнышков. Калёны. Не хочешь? Да, бабы, чего они одни без неё будут?

– Да чего? Одного в приют отдадут, а второго, может, кто возьмёт...

И я побежал домой. Что у меня на душе делалось – не спрашивайте. Дожил. Еле-еле дожил я до утра. А утром раненько собрался на Вьясс, в больницу. Всё помню сейчас: и то, как меня перевёз через зимник Мишуня на лодке, и то, как бежал по утреннему бору. И вот выхожу я из бора. И вижу Вьясс. Кроме этого, слышу, лают собаки. Кобели... Вон он! Аж цепь готов сожрать железную. Волосы у меня встали дыбом. Иду. Прямо всё время и стараюсь ни левой стороны, ни правой не замечать.

– Мальчик, иди, иди, он тебя не тронет.

Иду. А тронет, так что же. Всё одно, я чувствую, не этот, так следующий тронет, сожрёт. И как лягушку заглатывает змея, так заглатывает меня Вьясс собачий. Собачий! Это вот очень точное слово для него. Сколько собак во Вьяссе! В каждом дворе собака, под каждым крыльцом рычит. А там, где не под крыльцом она, жди, значит, с другого крыла вылетит, и хорошо ещё на цепи. Эту собаку на цепи слышно, а эта: «Ав! ав!» – из-за угла она. Причём которые бегают по проволоке – у таких до другой стороны улицы цепь, а там, в свою очередь, тоже собака. И тоже с пеной у рта мечется.

– Мальчик, иди, иди, она тебя не тронет.

Да пусть тронет. От меня и осталось-то всего ничего. Скорее бы уж конец. И одна – бежит. Но, сразу скажу: виляя хвостом. Эта подбежала ко мне и... я замер. Гляжу: она тоже. Я протянул руку, чтобы она с дороги ушла, а она – повалилась на спину. Вот это уж наказание. Вот это как раз и есть конец мой самый последний. Мама, мамочка! И только я произнёс про себя это – как молитву, – она, собака, встала и, виляя хвостом, убежала прочь. И, слышу я, тихо. Все собаки как умерли сразу.

О, братцы, какое слово – «мамочка»!

Только благодаря этому я добрался до больницы благополучно.

Но вот по двору больницы идёт тётя. Она в белом. Надо у неё спросить.

– Тётъ, а где наша мамка, не знаете?

– Знаю. Только ты скажи мне сначала, как твоя фамилия.

– Верещагин.

– Вон окно то видишь? Она в той палате.

И гляжу: она. Стоит около окна и мне машет, машет. Окно тёмное, и за ним нельзя ничего разглядеть, но я сразу разглядел. Родное лицо. Мамкино лицо. Секунда – и окно распахнулось. И... вот уже посыпались стены. Но они посыпались не на землю, а в небо. Стена вознеслась на небо. А мать, слышу, говорит:

– Ты погляди-ка: он целоваться умеет! Ты аль любишь меня?

– Да. Вот как!

И всё. Как только мать услышала, что я её люблю – да ещё, оказывается, так! – она сразу выздоровела.

– Ой, Нина Михайловна, я здорова, здорова, здорова. Давайте отпускайте меня домой. И дети у меня там без меня, и сенокос. Отпускайте, или я сейчас убегу.

– Ну, что с тобой, Верещагина, делать. Собирайся. Но если опять будет приступ, если у тебя камни...

– Ой, да нет у меня ничего.

– Ну, хорошо, Мария. Но если с тобой будет приступ – не стану оперировать. Да, вот что! Если приступ – ни в коем случае лёд не прикладывай. Тут, напротив, надо горячее. Как мальчика зовут?

– Митя.

– Хорошее имя. Иду выписывать.

... И вот уже мы идём домой. Я веду мать за руку (сроду не брал её за руку!), а в другой руке держу я узелок. Там, мать говорит, котлеты. Ладно... Мы, как выйдем за Вьясс, мы этот узелок развяжем. Эх, скорей бы уж пройти его, собачий Вьясс. Но, надо сказать, когда шли по Вьяссу мы с матерью, я собак уже не боялся. Больше того: когда шли с ней мимо того кобеля, который меня чуть не сожрал, я нагнулся (как бы за палкой), и он спрятался в конуру. А, говорю, кобель. На цепи ты привязанный. Испугался, спрятался сразу. Вон наконец кордон. Около досточки «Берегите лес! Лес – наше богатство!» сели, чтобы поесть на скорую руку. И с каким удовольствием я молотил котлеты! Они мне показались настолько вкусными, что и ныне, когда мне предлагают меню, я говорю не глядя: котлет мне, пожалуйста. Хорошее, вкусное блюдо – котлеты. Сейчас, правда, я съедаю зараз не по столько, сколько их съел тогда, не по числу годов, а тогда, у кордона, по числу. Шесть штук. И, съев шесть, я спросил у матери:

– Мам, а сколько в больнице дают их на ужин?

– Одну.

– А что же в обед столько дали?

– Мне на кухне наложили. Мальчонку, сказали, хоть покормишь дорогой...

И вот мы идём домой. Последнюю котлету я положил в карман для Вольки; а платок, в котором были они, мать отряхнула от крошек и повязала на шею себе. На ногах у нас ничего нет. Чай, у нас ноги не казнённые, летом ещё казнить их обувкой.

Мы шли, шли, и вижу впереди себя: зима, чуть выше соты, и роятся пчёлы. Да это же – вижу сквозь сосны – песок! Берег Суры нашей! А соты и пчёлы – это норы и стрижи! Это наш берег! И я уже дома сердцем. И как оно затуктукало сразу!

И чем ближе мы подходим к воде, тем ближе, виднее лодка и в ней... Мишуня!

– Дядя Миша-а... а!

Ой! Тратата! И вприсядку: и-их-ха-ха!

Плывёт, братцы, плывёт! Но как, вот как тут мне дожидаться? Пока, пока, пока плывёт. Их-ха-ха, мамка, да? И вдоль берега. По тугому песку я. Птица. Птица я. Ой, сколько птиц! Стаи. Задыхаюсь. И душа моя – Сура. Слышно: «Пить... пить...»

Пигалицы пить просят. Наши чайки на Суре просят. А стрижи из своих нор – сссс! – со свистом к нам. Ой, скорее, скорее, дядь Миша-а! Хромой весь ты и медлительный. «Да што нога, робяты. Я боялся на фронте не за неё, а што не доведётся на Суре покурить...»

– Садись, курортники. Ишь, Машк, как повеселел парень: уши-то вон двигаются опять, а утром, когда перевозил, тоска была глядеть на него. И картуз вот у меня в лодке оставил. Ты, меж прочим, говори Вольке, когда с утра убегаешь из дома. Он про тебя подумал, што ты топিতца побежал с утра ранёханька и... Он те задаст вот дома...

– Не задаст. Да, мам?

– Чово?

– Волька меня не изобьёт ведь?

– Не знаю. Ой, стога все уже смётаны! Айда-ка вот, поглядим. Цела ли наша копна? Ой! Стоит, слава те господи, целая.

Это мы уже в пойме. В нашей пойме.

– А наше звено вон убирает. Все, все люди работают, все. А я одна прохлаждаюсь. Аида скорее. Щас за копной поедем. Поедим и поедем. Не завтра, а ноня-а. Завтра...вон уж бабы в коноплях... будет мне завтра.

Началось. Хоть домой не ходи с ней, так опять работать неохота мне. Прямо с нашей мамкой не жизнь, а... не знаю даже, как сказать...

Изба

Старую избу сломали быстро. Мы, помню, с Витькой Додоновым проводили коров в стадо с полудника и бежали обратно, чтобы смотреть, как её будут ломать. Как вдруг видим с Поповой горы, что крыши уже нет. Уже изба наша стоит без крыши! И пыль по всему нашему проулку. Это уже землю сбрасывают с потолка! Я, подбежав, нырнул в пыль. Как в облака! И вот я шарю дверь в сени, вот нашёл её. И вот я в сенях. И – чудеса какие! – небо. В сенях, где крыша была, – небо. Ныряю дальше – в избу. А там – ещё чуднее. В избе, над головой у меня, ходят великаны и, слышу я, говорят: «Д-давай! П-поднимай!» Вдруг сквозь щель посыпалась земля. И мне в глаза. И пока я тёр, пока я к носу глаза тёр, как гляжу – уже надо мной – небо. Как в сенях! Даже лучше, ближе оно! Руку я протяни – и, кажется, она уже на улице!

Но это ещё ладно. Вы не знаете ещё, что было дальше, когда сломали потолок и стены. Когда их сломали, печь наша оказалась на улице! Печь, матушка, на которой я спал зимой в морозы и, спасибо ей, кормилице, не замерз ни разу, теперь она на улице! Каково? Бывало, залезешь на неё и видишь стены. А сейчас: ступишь на первый приступок – огород видать. На второй – гумно и речку. А когда поднимаешься на самый верх – всё село наше и пойму...

А жили мы, когда строились, на погребнице. Стол там у нас стоял и кровать, которую отец нам сделал еще до войны. И какую хорошую, надо сказать, он сделал кровать: мы спали на ней втроём. А когда Витька Додонов оставался у нас ночевать, вчетвером даже на ней мы помещались. Ну и конечно, там мне нравилось, на погребнице: спишь ночью, как вдруг – кукареку! – петух горланит. До того горланил громко петенька, что потом, когда он весь истощится, в ушах ещё долго звон стоит.

Но не петушиное «кукареку» меня будило, а строительство. Строительство избу меня будило! И как рано: только плотники придут, только слышу я: тук, тук! – то поры застучали – как уже я встал. Выхожу на проулок через двор – и:

– Чё, хозяин, контролировать встал нас? – спрашивает у меня Яян.

И он был прав. Я вставал контролировать! Потому, мне казалось, не стой я рядом, он чего-нибудь не так сделает. К тому же и сосед, дядя Фетюшин, меня о том же предупредил: «Он те срубит избу! Ты вставай каждый день по-ране и следи за ним, как он топор в руках держит». И я вставал пораньше. И как выйду на проулок, где они, плотники, рубят, то уж всё, больше не сдвинусь я с места. А буду стоять около них весь день и контролировать.

Стою утром рано, ног своих не чую на росе. Наблюдаю!

Нет, я, как бы даже сказать, и не гляжу в их сторону, а при этом всё вижу. И когда у Яяна топор ковырнёт чуть поглубже линии, отбитой шнурком, так сердце и захолонит у меня сразу: ой, испортил!

А вот за Софрона, между прочим, я душой спокоен. Этот точно шёл по линии. И при этом: если у Яяна рубашка, глянешь, мокрая на спине, у этого, подвязанная пояском с кисточкой, она сухая. А бревно ошкурит он намного скорее. Яян, пока ошкуряет, сколько раз он отвернётся в сторону и нос свой выбьет! А Софрон, пока не пройдёт всё от края до края, спины не разогнёт.

Но вот он прошёл всё бревно до конца и выпрямляется. И говорит: «Опять ты, Митька, штаны порвал!»

Я смеюсь. Потому что Софрон хороший. Он шутит.

Он мне очень нравился. Софрон. И вот чем именно.

Вот, скажем, такой пустяк. Со двора на проулок выплывает барыней клушка. За ней и впереди неё бегут цыплятки. Жёлтенькие и такие шустрые, что, пока я пересмеиваюсь с Софроном, они там и тут. По всему они проулку рассыпались! Как вдруг:

– Пи, пи!

Это Яян придавил одного. Придавил Яян, а я виноват.

– Ах, такой-сякой! Что ты стоишь и рот разинул! Гони их с проулка!

А Софрон и не наступил бы никогда, он – когда уже цыплёночек ногу ему клюнет – возьмёт его остороженько и отшвырнёт чуток в сторону.

Ничего его не раздражало!

Но дальше, дальше.

И вот мы уже брёвна ставим. Старые – сгнившие – мы разрыли и вынули из ям удавкой. А новые – дубовые, толстые – ставим. Вот спустили их мы в ямы и пошли набирать кирпичей, чтобы посильнее, потвёрже утрамбовать вокруг них грунт. Вот все бегут бегом, чтобы первому бросить кирпич в яму. Витька Додонов, Волька, Колька Жарсенин, Колька Капитан и я. Я самый последний. Меня все обошли. И я не знаю, что мне делать! Стою, как вдруг:

– Стойте, – говорит Софрон. – Первый кирпич должен бросить Митька. Он в семье самый младший, и он должен первым его бросить. Это такое правило.

Как я люблю такое правило: когда самый младший в семье должен бросить первым кирпич!

– Вот кому в этой избе быть теперь хозяином! – хлопая меня по плечу, говорит Софрон.

И все.

С этой минуты, с этого часа новая изба делается для меня. Она делается моей совершенно. Но почему она так долго строится? Вот бы сразу она выстрои-

лась! Как хочется мне, чтобы она выстроилась враз! Чтобы не жить на погребнице. Это же не дом, а погребница. Не хочу жить я на погребнице. Не хочу я с курами ночевать больше. Я нынче, сегодня же в новой избе буду спать!

– Ма, я буду спать вот тут. Нынче. Я домового не боюсь. Его нет!

А он, домовый, представьте, был рядом. Он всё до словечка слышал и меня наказал за это.

И вот как наказал.

На другой день плотников взяли от нас в колхоз. Новый коровник строить. И несмотря на то, что я ходил за ними на дню по нескольку раз и звал их к нам, они не шли полмесяца.

Целых полмесяца!

Ой, кто бы знал только, как это долго.

Вот что значит домового обидеть!

Наконец пришли они снова, плотники. И не знаю: изба подошла, как подходит в квашне тесто, она выросла на глазах. За один день мы положили все венцы на место, на мох. Вернее, не все, верхних-то два венца не успели положить; но всё-таки уже это, знаете, изба. И тут уже ты не удержишься. Заберёшься на верх самый и оттуда скажешь:

– Больше ничего не надо! И так высоко!

На другой день доложили верхние венцы и, кажется, потолок весь настелили. И когда всё сделали, я сказал Софрону, что в ней и такой уже можно жить.

– Как? Без стропил?

– Да-

– Да это сундук будет, а не изба!

– Ну, а всё же можно в ней жить?

– Ой, господи! Да потерпи ты, потерпи ещё немножко! И будет дом! Ну, говорю тебе, будет!

Ну ладно, я Софрону верю.

Эх, до чего же, братцы, здорово, когда стропила ставят! То была изба сундуком, а эта – со стропилами! – она не сундук уже, а дом настоящий!

И с верха крыши стало видно: огороды, пойму и даже Суру.

А там, на Суре, ребята купаются. Здорово!

Я Вольке кричу снизу:

– Воля! Тебе на Суре видно ребят?

А он:

– Не. Очень плохо. Почти что не видно...

Но это он меня обманывает! Не может быть, что с такой высоты Суру не видно.

А я внизу. Я всегда, всегда я внизу. Где мусора много, щепы и брёвен. Такова уж моя, видно, судьба. И надо мне караулить. Сколько в деревне мужиков не пришло с войны. И каждой семье помощь нужна. Нам вот брёвна привезли. Как же их не беречь. Ведь можно растащить дом по щепочке. Люди, что мимо ходят туда-сюда, берут вроде бы только себе на разжигу. А всё-таки растаскивают.

А у нас ещё и сени стоят без стен. И чужие люди идут к нам напрямик через сени. А вот когда будут стены, не больно они походят напрямик! Софрон мой говорит, что он такие сделает стены, что ни один вор к нам не заберётся! Но когда это ещё будет? Ведь все, кому только не лень, ходят напрямик. Даже когда скажешь:

– Не ходи тут. Иди через дверь.

– А какая тебе разница?

– А такая! Вон коза глядит, как мы ходим, и она сей час тоже ползет! А мне надоело её гонять. И...

– Чего?

Ну, как тут объяснишь, что напрямик через сени не дело ходить? И что... когда даже жук пролетает через них, думаешь: а вот если бы стены были, то бы пролетел?

Но вот уже крышу покрыли жестью. И в этот же день пошёл дождь. Просто как по заказу он: сильный, проливной. И мы все, сколько нас глазело на проулке, как Лелюня докрывает крышу, заскочили в избу скорее. И – какая была минута! – в избе, где в дождь блюда у нас плавали, – сухо. Бывало, когда вернёшься из леса с грибами, притулиться в избе негде – так текло отовсюду. Как под решетом мы жили. А нынче: забежали мы с проулка: а в избе сухо. И нам – даже не верится.

Я выбегаю из избы в сени, и... Шумит дождь. Как по крыше лупит!

Но – и в сенях сухо! Крыша шумит.

И, братцы, как это приятно: стоять в своей избе и сознавать: ну, теперь можно пожить спокойно!

А вообще, что значит спокойно? Не то слово. Радостно, а не спокойно. До того радостно, что я – держите меня! – плясать пустился. Плясал, как я плясал! Мать с Волькой плясали или нет, я сейчас уж не скажу. Но пожалуй что плясали.

Конечно, плясали.

Ой, какие нарядные нам сделал Софрон наличники! Он сделал их нам за полцены. Мать не хотела делать их, или, говорила, как-нибудь на другой год, но Софрон сказал:

– Да что это, Маша, ты говоришь? Изба как изба. Стоит под железной крышей. И – без наличников? Нет, нет – нельзя так. Давай я тебе за полцены, а сделаю. Изба без наличников – дура. Не могу я, чтобы Митька в такой жил!

И сделал! И как мы их с ним повесили, приколотили к косякам, да отошли на расстояние, чтобы поглядеть: о, какая красота! Изба наша сияла вся, смеялась!

Но наконец готова и печь. И уже мать её затопила. Мать затопила печь, и мы – печник, мать, Волька и я – стоим и ждём: задымит она или нет? Особенно ждём мы с Волькой. И почему мы ждём? Старая-то печь у нас дымила ведь до того, что мать нас утром будила. Ей казалось почему-то, что мы, спящие на ней, в дыму однажды задохнёмся. И вот печь новая...

– Не дымит! Ура-а-а! Не дыми-и-ит!

Но что такое? Печник обиделся. Почему? Я, говорит он, такой одной печи еще не сложил никому, чтобы дымила. Эх, печник, печник, миленький и хороший

самый, ты прости, прости, прости нас с Волькой за всё. Но, голубчик, если бы ты знал: каково было на ней спать в дыму!

И вот. Вот уже я залезаю на печь. И пою песенку на мамкины слова:

– Хорошо лежать на печке, ножки в тёпленьком местечке...

А мать с Волькой приколачивают в стену гвозди, чтобы на них повесить портреты родных. Вот Волька заколотил гвоздь крепко, и мать берёт портрет отца. Протирает лицо ему полотенцем и с ним беседует:

– Спасибо, Иван Григорьевич, спасибо. Без тебя бы мы, Иван Григорьевич, не построились. Погиб ты у нас на войне, а помог хорошо...

Любимая учительница

Вот почему в классе, когда она, моя первая учительница, заходила, – хорошо так пахло? Всегда, когда ни вспомнишь, – аромат этот слышен. Даже слова пахнут хорошо – «первая учительница». А, например, «профессор» так не пахнет. «Академик» же – совсем никак. И я Додонова Витьку чуть не набил за это. Он сказал: «У Екатерины Петровны одеколон пахнет так хорошо». Если бы он не сказал, не добавил слово «хорошо», я бы ему... Потому что откуда он знает всё! Она, Екатерина Петровна, сама так хорошо пахнет, а не одеколон. И нечего тут спорить. У ней и платочки пахнут. Что же, она и их, что ли, одеколонила? Знахарь какой нашёлся. Она однажды мне подала платочек и сказала:

– Выбей нос, пожалуйста, Мить.

Я взял его и понюхал – пахнет, как она. И положил его на парту. Екатерина Петровна глянула на меня и улыбнулась. Потом подошла ко мне, взяла платочек и, поймав им мой нос, скомандовала:

– Ну-ка! Ну, давай же, ну! Да ну же, Мить!

А я никак, никак вот не могу в её платочек. А она не отдаёт мне нос. И когда уж задыхаться я стал весь, и я... ой, господи мой...

Екатерина Петровна. Первая она моя учительница...

– Ну же, Митя, – говорила, – ну что у тебя с ручкой? Ведь не мороз же в классе...

Это она так учила меня ручку держать. В сентябре месяце, когда с пальцами январь самый происходит у первоклассников. И эту она ручку мне в руку: «Держи ручку. Да не эту ручку, а вот – разожми же её! – вот какую ручку-то».

Жила она при школе. Вдвоём с Ниной Ивановой, которая учила Вольку нашего с Витькой Додоновым. Комната у них была, я вам не скажу сейчас какая, потому что сразу вам всё скажи, а я-то ведь не сразу увидел. Я прежде знаете сколько пережил, пока увидел? Я, чтобы глянуть, увидеть, готов был незнамо что

отдать за это. Самокат свой на новых подшипниках отдал бы, только б поглядеть. Глазком одним хотя бы. И конечно, не так поглядеть, как я поглядел дважды.

Первый раз: когда старшекласники отворили дверь и бросили туда, в комнату к ним, фуражку с меня. Я забежал, схватил её и пулей выскочил обратно. А они – орлы какие! – заметили, видно, как мне туда хочется. Потому что они видели, как я часто крутился около их двери. Я даже котёнка их гладил. Вернее, я его погладил, когда он собрался один раз мяукать, проситься. Я его погладил, а он побежал за мной. Совсем ещё он без понятия. Хуже, я думаю, Витьки Додонова, который не мог отнять от десяти три. Ему Нина Ивановна сказала: «Ну, а от десяти грибов если три». – «Семь!» Сразу решил, когда с грибами. А без грибов – как котёнок, без понятия. Но котёнок хоть пахнет хорошо. Как Екатерина Петровна, между прочим. И вот, кстати сказать, что же, она и котёнка одеколонила, что ли? Нет, это потому что он жил в доме у Екатерины Петровны. Я вот тоже, когда пас Жданку в пойме и всё время там пропадал, мама мне говорила: «Ой, как от тебя поймой пахнет».

А второй раз я поглядел с улицы в окно. Я подтянулся за наличник и только нос расплющил о стекло, только глянул, вижу: она, Екатерина Петровна, на меня глядит.

И вот, как сосулька падает с крыши в апреле и разбивается вдребезги, так и я упал и разбил будто своё сердце. Я потом не ходил в школу два дня. А на третий, гляжу, – она идёт к нам сама. Я увидел её – она с Волькиной Ниной Ивановной спрашивала наш дом у Маньки Фетюшиной на проулке. И ещё они про что-то говорили с Манькой долго. Очень долго, потому что я спрятался под кровать и ждал там, как мне показалось, год целый. Как вдруг слышу – в сенях – идут. И в дверь: тук-тук.

– Мо-ожно! – мать говорит.

И... входят!

– Мария Ивановна?

– Я.

– Мария Ивановна, мы к вам с большой просьбой. Вы не могли бы нам молоко продавать?

Да уж, думаю, молока. Нужно оно вам, молоко наше. Это вы пришли, чтобы меня ругать! Но – какие! – сразу обо мне не говорят, а всё о чепухе: нельзя ли будет сделать так, чтобы молоко брать два раза в день – утром и вечером. Что-де у них нет погреба, а так оно, молоко, может у них прокиснуть. И всё о чепухе и вокруг да около. А обо мне ни слова. Так что я уже весь замучился, истомился. Но, признаться, надежда всё-таки была маленькая: а может, действительно, – не ругать? Очень уж голоса, слушаю, ласковые. Но, вообще-то, неужели правда за молоком? Зачем оно им? Неужели они, как я, будут его пить? Как вот слышу:

– Мария Ивановна, а почему Дмитрий не ходит в школу?

– Да, Катерина Петровна, чего ещё ему? Он ещё, я думаю, молодой. Чай, и не понимает он ещё ничего.

– Нет, что вы. Он очень способный мальчик. Пусть ходит. Ведь проучились полмесяца только, а он все буквы почти знает. И считает...

– Ой, не знай...

– Хорошо... Пусть ходит. Он, поверьте мне, всё понимает у вас.

– Ой, не знай. Нина Ивановна, а второй-то мой как учится?

– Вы знаете, неважно. Так он понимает, но... в голове одна речка... А вы не могли бы нам, Мария Ивановна, продать шерсти?

И опять о чепухе заговорили. О шерсти. Как будто они из неё будут валенки валять. Пусть даже если и чесанки с галошами – не будут. Они из города приехали в ботиночках. Зачем валенки им? Сами в ботиночках, а говорят: фунтов шесть. То есть как раз это на двое валенок. Я же знаю, сколько надо шерсти на валенки. Три-то фунта, уж если на то пошло, на одни валенки даже много. Их, трёх-то фунтов, ещё и носки с варежками хватит связать. И я, когда сидел под кроватью, их слушал, так их я слушал, что...

– Апчхи! – вдруг чихнул я там. И мать:

– Эй, атаман, аль ты дома? Под кровать спрятался – значит, чего-то набедокурил. Катерина Петровна, он чё-нить натворил?

– Нет... ничего. Вот только два дня пропустил. Ну-ка, Митя, вылезай оттуда. Ой, ты, мордашка моя. Пстой, стой, я тебя отряхну...

– Ой, Катерина Петровна, чего вы... испачкаетесь сами-та.

И вот всегда так бывало. Меня ни сопливого, ни в пыли не боялась. Возьмёт и приведёт в более-менее вид приличный. Но зато уже и я, конечно, старался и делал всё, чтобы ей понравилось. А именно: молоко, бывало, как понесу я, так уж понесу. Наливал в погребке в бидончик двухлитровый не простого, а из сметанницы. Напополам разбавлял.

«Ах, Мария Ивановна, какое у вас густое молоко! Просто как сметана». – «Да, у Жданки хорошее молоко. И даёт, вы знаете, ещё неплохо. Всё ж, как-никак, а уж к зиме дело идёт, а она тоже даёт». И ей – моей Екатерине Петровне – я таскал картошку в мешке. Набирал самую рассыпучую – вольтмана.

Но уж и она – Екатерина Петровна... Мать сшила мне рубашку из мешка и выкрасила в такой разнолапый цвет, что... все ржали в классе. А она сказала, что, если услышит ещё, кто надо мной будет смеяться, сама вот возьмёт и хуже отца-матери отхлещет. Или, помню, я заболел. Из-за Жучки. Её раздавил «студебеккер». Откуда он появился, я вам не скажу, но, видимо, после войны – откуда же ему ещё взяться. И эта махина остановилась зачем-то на нашей Большой улице. Даже помню, у чьего двора – у Парфёнова. Мотор, помню, как работал и как из выхлопной трубы интересно воздух тукал: тёплый и такой чёрный, что мы, все уличные, лезли под трубу в драку. И когда постоишь минутку и вылезешь наружу, то весь чёрный ты, как негр. И тут же со мной крутилась Жучка. И как она попала под колесо, я сейчас не помню тоже, но... какая была ужасная минута. Гляжу: она ползёт на передних ногах, а задние обе волочатся...

Нет, этого нельзя передать...

Я лучше расскажу – какая она была у нас, Жучка. До того кудрявая – как барашек. Только ножки совсем маленькие, коротенькие, и когда она встречала меня из школы, уж она хвостом крутит, уж она... Как коляску катишь и спиц не видно, так у неё хвостик крутился, у Жучарки. И поэтому на неё все зарились,

все её хотели украсть. Так александровский мужик, возивший мимо нашего дома молоко на сыворотку, поймал её однажды и присвоил. Она его ненавидела, лаяла аж до околицы, а то и дальше ещё; и он её поймал. Но я уж не стану рассказывать, как мы, Волька, Витька и я, ходили за ней в Александровку, – про это уж не стану. А он её и второй раз хотел украсть, до того она, ещё раз повторяю, была расчудесная вся. И ведь как: осенью, когда дорога схвачена так морозом, что бидоны выскакивают на ней из телеги, а он ещё стеганёт специально лошадь кнутом – и, конечно, Жучка не могла пропустить грома этого. А он, возчик, что ни день, то больше дразнит и больше: так она ему нужна была. То есть, я хочу сказать, потерять такую собаку – это всё равно что себя потерять. И я потерял. Ведь я не просто заболел – нет, я не заболел! – а вот что-то со мной произошло такое, что день стал путать с ночью. Но вот как об этом мать моя рассказывала Екатерине Петровне, которая пришла к нам, чтобы узнать, что со мной случилось, почему неделю целую пропустил я. Как она пришла, я не слышал. Только вдруг учуял её запах – и проснулся. Проснулся я и слышу:

– ...боюсь, не лунатик ли...

– Да что вы, Мария Ивановна, он просто очень мальчик впечатлительный.

– Ой, Катерина Петровна, но ведь вы подумайте тока: не хворат, а... как ночь, гляжу, поднимается. И одеватца молчком, и уходит. Я за ним: украдочкой, потихонечку, чтобы поглядеть: куда это он. И вот так встанет и глядит. «Мить, ты чего это?» – «Я, мам, погулять вышел». – «Да, чай, ночь». – «Нет, мам, день». – «Да что эта? Ты, чай, погляди: это луна, так светло-та. Ты вон погляди, – показываю ему на окошки, – какие они тёмные». А луна, правда, сияет индо. Если бы не окошки тёмные, прямо как днём. И уговорю его домой идти всё же. И мучаюсь с ним полночи: «Голова, мам, у меня, голова, мам, у меня». И я мучаюсь с ним. Кормлю: днём-то спит, не ест ничего. Спит целдень; и вот бужу, бужу: айда, айда, погуляем. «Щас, мама, ночь, я, мам, спать хочу». Ну, прям... лунатик; ей-господи.

– Да нет, Мария Ивановна, это пройдёт. Это так бывает с детьми... А вы ему собачку другую заведите...

– Ой, ну её к чёрту. Её задавят опять, и он совсем тода... ну её к чёрту.

А я и сам бы не захотел другую. Вот Жучка была умнейшая собака. На крыльцо ступает, скажем, сторож с бахчей, она: «Р-rrr...» Если Екатерина моя Петровна – ни звука: иди, пожалуйста, в избу.

И каково же было мне потерять ещё и её, учительницу мою...

Она учила нас только до Нового года. Раздала нам после ёлки подарки, кулёчки с конфетами и пряниками (а мне не кулёк, а два дала она: мы потом чай пили ползимы вприкуску), – и уехала. Замуж она вышла за капитана. За нашего, ильминского. Он приехал в отпуск и увёз её с собой. Но я про это узнал очень поздно. Уже после каникул. Когда в класс вошла другая учительница и сказала, что она будет теперь учить. Господи, какой удар для меня был это. И как, говорю я, судьба-злодейка напотешалась надо мной. Это ведь какая учительница-то. Я один раз бежал по коридору мимо неё и задел бачок с водой. И его уронил, разлил я на пол. А она меня за шиворот – ив учительскую. И там такого про меня наговорила, что директор, Серафим Николаич, на меня закричал:

– Вынь руки из карманов! И что у тебя там – ну-ка, выкладывай!

А у меня как раз были складник там и наган. То есть какой это наган – наганчик это. Из медной трубочки сделанный, в середине сплюснутый и загнутый. Ну, да вы все знаете, какие наганчики делали, бывало. С резиночкой, для взвода бойка. Помните?.. Как вот уже, слышу, на меня посыпалось: «А, вот кто стрелял в дверь у меня на уроке?» И меня давай песочить. И когда уже я стал и шпаной, и убийцем почти то, в учительскую вошла Екатерина Петровна. Это ещё при ней было. И она, дав всем высказаться, сказала: «Давайте спокойно разберёмся, Лидия Васильевна, у вас на каком уроке стреляли? Но ведь он сидел у меня в это время. Так ведь, Митя?» Я сказал слезами: да. Но надо прямо признаться: это стрелял я. Но ведь я никого не убил. Зачем же так сразу и меня не знай кем считать. Ну, ладно: чего не случается только в школе. Всё бывало. Я просто хочу сказать ещё, что эта самая новая учительница мне не давала спуска ни в чём. И не мила мне, противна стала школа. И как путь-дорога до неё удлинилась без Екатерины Петровны! А гора, на которой у нас стоит школа, стала до того высоченная, что на неё поднимаешься, поднимаешься... Но вот – ух! – поднялся я. Поднялся и... тут тебя опять толкнут вниз. А потом по селу у нас прошла корь; потом, когда корь прошла, золотуха за ней пошла по селу. И я всё второе полугодие, считай, в школу не ходил. И, естественно, результат: «Ты не перешёл. На второй год, скажи матери, ты остался».

– Ой, да не плачь ты, не плачь. Чай, ща тебе тока шесть годов, и аи ты один не перешёл? И Волька с Витькой не перешли. Не плачь, не плачь, сынок. Ищё ты всех перегонишь у меня...

А у меня слёзы капаят, капаят сами. По одной слёзке из каждого глаза. Из одного – Екатерина капает, из другого – Петровна...

Поезд

Однажды пошли мы на станцию глядеть поезд. Волька, Витька и я. Матерям, конечно, не сказались. Их выслушивать: не ходите, да устанете, да вы ещё маленькие. Но разве мы маленькие: Вольке с Витькой по восьмому году пошло, а мне шестой. А день, помню, был тёплый, солнечный. По времени же это было где-то так с месяц после полой воды, когда в пойме подсохнет и во всю уже распускаются листочки. Идти в это время одно удовольствие. В воздухе, слушаешь, поют жаворонки, с озера доносится стон лягушек.

Вот вижу и саму дорогу: сразу, как выйдешь за село, за Метелевку, она бежит на подъём – кажется, не круто, однако же, не пройдёт и десяти каких-нибудь минут, как уже село наше просматривается всё до единой избы, и хочется найти свою – и вон она, родная наша на самом краю леса. По левую руку – сыроварка и коровники, по правую руку – луговая пойма и в ней петляется Сура, Сурушка.

Потом дорога побежала вниз. Внизу нас остановили три ключа. Головка, Катим и Большой родниковский. Головку может воробей перейти вброд. Но какая вода в нём холодная! Даже в дни, когда нету от жары спасения, от головской воды ломит зубы. А чиста – как слеза. Дно видно, как через увеличительное стекло. Катим – немножко поглубже. Тут надо уже закатывать штанины. А третий ключ, Большой родниковский, и вовсе было перейти непросто. Он в глубоком ущелье. И шумит, как сто чертей. А моста не было. Бревно лежало там одно. И чтобы мне переползти по нему на пузе, Вольке с Витькой пришлось пройти с закрытыми глазами. Но уж когда и я перебрался – вот было радости! Я повзрослел сразу лет на пять. Я даже забыл, что где-то тут совсем близко Прорва, которая... Вот послушайте, какая Сура в том месте.

Когда-то давным-давно её глубину замеряли вожжами. Первые вожжи ушли сразу. Надвязали к ним ещё одни вожжи. Но гиря опять не дошла до дна. Несмотря на то, что тогда вожжи были длиннее, чем ныне. Но дна нет. Двенадцать её раз замеряли! А вожжей ушло, конечно, не двенадцать, а, может, целых все сто. Стали в тринадцатый раз замерять. Как вдруг поверхность воды заволно-

валась, закипела кипнем и – о-хо-хо! – захохотало. И показалась голова, до того страшная, что половины людей не стало в ту же секунду. И надо ли говорить вам о том, что после того оставшиеся в живых каким-то чудом, храбрые из храбрых, взяли слово у детей, и у внуков, и у правнуков – никогда больше не беспокоить водяного на Прорве. Страшное место Прорва! Сюда и птица не летит, и зверь не бежит. Прошло сто лет, двести ли, стали забывать уже погибших. А потому стали поговаривать, что никто её, Прорву, не мерил, пожалуй.

И вот, наконец, теперь наша очередь. Мы идём. Идём, идём да остановимся. Потому что... мурашки, чувствую, на спине. Ведь сказано же не зря: сюда и птица не летит и зверь не бежит. Но всё-таки идём. Вот остановились снова. Послушали. В кустах чирикают птички. Значит, это ещё не Прорва? Но так как Сура, слышим, близко – полезли в кусты. Крапива стоит – уже с меня. Ежевичник. Колючий какой! И... вот где ежевики уродится! Непролазно. Но – пролезли. К Суре любыми путями, а пройдёшь-пролезешь, бывало! А речь мы ведём такую:

– Это и есть Прорва?

– Идёмте на станцию, ну её! – Я говорю.

– Ой, Митьк, ты и трус, – говорят они мне. – Вот где ежевики будет! Ой, а смородник какой кустистый! Придём с вёдрами сюда, да, Воль!

– Ага! – Волька откликается. – Обязательно, Витек!

– Воль.

– Чего?

– Черёмухи сколько!

– Но?

– Усыпная будет! А то – Прорва! Нет тут никакой головы водяного. Ерунда это всё. Бабкины это сказки!

– А вот мыло, Мить.

Трава то есть. Мыло – это у нас трава растёт такая. Ею руки и лицо натрёшь, бывало, и станешь умываться. А пены от неё – облака целые на воде!

– Э, – слышу, – сплав никак!

Глядим: правда. Сплав пошёл. Мы обрадовались, потому что, когда сплав идёт, мы на Пристани, где рыбачили всегда, любили на брёвнах кататься. Но я уже, впрочем, об этом рассказывал. И, глядя на сплав, который пошёл, пошёл всё сильнее, я представил уже себя плывущим на брёвнах. И говорю:

– Давайте плот сладим да поплывём на станцию! Что и в самом деле неплохо бы! Бывало, плывёшь, и кукушечку слушаешь. Как вот она – легка на помине – закуковала! Первая! Но такая, надо сказать, недолго кукует. Раза два, три – и перестанет. А потому у неё и не стоит спрашивать: «Кукушка, кукушка, сколько мне годов ещё жить?» Но я, помню, ей так обрадовался, что спросил именно про это. Как вдруг:

– Хо-хо-хо! – захохотало на воде.

И, друзья мои, до станции знаете, сколько у нас километров? Но я бы и до неё долетел с испугу! Если бы они не догнали меня на дороге, уже около Горевой горы. И Витька мне говорит, вытаращив глаза:

– Слышал? Теперь слышал водяного?

Но я ему ничего не ответил, потому что... Гляжу, он Вольке подмигивает.

– Это ты, – говорю, – не водяной ты, а Додон!

Хотя про себя всё ещё сомневаюсь: хохотало-то, как водяной! Кроме того, гляжу, у Вольки губы трясутся тоже, и волосы на голове стоят дыбом. Он, хлопая глазами, говорит:

– Это водяной был, пожалуй!

– Да может, и водяной. – Витька отвечает. – Хо-хо-хо! – опять.

– И там: хо-хо-хо. На Прорве.

– Хо-хо-хо. – На Прорве опять.

– Хо-хо-хо! – Витька опять. И...

Уже мы, гляжу я, на горе стоим. А на Прорве ещё: «хо-хо-хо!» Но мы уже на Горевой стоим. На высоте.

После Горевой до станции нам подать рукой. И мы пошли. Потому что возвращаться домой – страшнее. Мимо Прорвы! Куда лучше вперёд, на станцию идти. Благо, мы на ходу освоились, перестали бояться водяного. И скажу почему. С Горевой горы нам стало слышно поезд. Он стал казаться совсем близко, хотя, впрочем, поезду нельзя доверяться. С поездом ведь как бывает? Его в полную воду, например, тоже слышно хорошо. Так, что кажется, он бежит-гудит на задах, и ты побежишь на зады, думая, что там поезд, но в результате ты там находишь обман один, а не поезд. Вот и после Горевой так же было: лес кончился, пошли давно озимые, а поезда нет, всё ещё его не видно. Но это хорошо, надо сказать: мы, благодаря тому, что поезд было слышно, бежали теперь торопко, с одной мыслью в голове: «Вот сейчас ещё пробежим до того места, где лесок кончается, и будет обязательно поезд!»

Да, именно благодаря этому мы одолели пятнадцать километров!

Но, помню, они, километры, нам достались тяжело. Особенно мне. Я стал так уставать, что начал садиться – прямо на дорогу. Волька с Витькой грозили мне, что отлупят, – на меня ничего уже не действовало. Я стал садиться всё чаще и чаще. А поднимался, когда брат мне скажет:

– Иди, понесу горшком!

Ехать горшком хорошо. Правда, когда я долго не слезаю, Волька жалуется, что тяжело. Но зато потом, когда я слезу, нам делается сразу обоим легко.

Ну какой у меня славный брат! Он, мой Воля, всё рассчитал наперёд. Он, когда стало мне невмочь идти, достал из кармана хлеб. И разломил, помню, кусок свой напополам, несмотря на то, что я свой съел давно, когда мы были ещё на Головке. А чтобы нам было сладко, мы заедали хлеб борщевиком, который рвали, идя обочью дороги. Брат даже стебли мне очищал, а я уже только их хрумкал.

Поезд появился неожиданно.

– Вон, вон он!

Я поглядел туда, куда глядел Волька и... Поезд! Он вынырнул из леса и стал расти, расти.

– У-гу-гу-у-у-у-у!

Вот как он забасил громко. Я даже подпрыгнул, потому что это ведь совсем не то, как бывало на задах. А лучше, громче! И мы побежали бегом, чтобы опередить его. Но он прибежал на станцию вперёд нас. Поезд. На то он и поезд.

Мы прибежали, а он, глядим, стоит. Огромный, вспотевший. И вздыхает ещё: «Ух, как я бежал! Даже весь вспотел!» Именно так он вздыхал, этот великанище. И он покосился в нашу сторону. И сразу он понял, что мы ильминские, деревенские.

Потом, посопев ещё немножко, он – чух! чух! – пошёл. Пошёл, пошёл и...

Оставил всё это, что мной написано, а вами, друзья, я надеюсь, будет прочитано.

© Д.И. Верещагин.

Фото предоставлено Д.И. Верещагиным.